

Annotation

«Джек Реймонд» — второй роман Э. Л. Войнич — впервые был опубликован в Лондоне весной 1901 года Вильямом Хейнеманном.

В этом романе частично отразились детские впечатления писательницы. Она рассказывала своей знакомой — Анне Фриментал, что девочкой ей иногда приходилось жить в Ланкашире у брата ее отца — Чарльза Буля, который был управляющим на шахте. Это был очень религиозный человек с наклонностями садиста. Однажды, когда Э. Л. Войнич было десять лет, дядя обвинил ее в краже куска сахара и потребовал, чтобы она призналась в своем преступлении. Но девочка сахару не брала, — и не могла в этом признаться. Тогда дядя запер ее на несколько дней одну в комнате и пригрозил «ввести ей в рот химическое вещество для проверки ее честности». Девочка сказала, что утопится в пруду, и дядя понял, что она так и сделает. Он вынужден был отступить от нее. Этот поединок закончился тяжелым нервным припадком девочки...

Вскоре же после выхода «Джека Реймонда» в журнале «Вестник Европы» (1901, июнь) появилась обширная рецензия на этот роман, подписанная буквами «З. В.», то есть Зинаида Венгерова. Рецензент отмечал, что этот роман, принадлежащий перу автора «Овода», представляет собой отрадное явление в современной английской литературе: «...в нем нет обычного искажения жизни, нет буржуазного преклонения перед устоями английской добропорядочности», и добавлял: «Госпожа Войнич — очень смела; в этом ее большая заслуга».

Через год «Джек Реймонд» появился на русском языке в журнале «Русское богатство» (1902, №№ 5 — 7) в переводе Л. Я. Сердечной. Так же, как и в переводе «Овода», и здесь наиболее сильные в антирелигиозном отношении страницы были выпущены. Кроме того, из перевода было изъято многое, касающееся польского освободительного движения.

Отдельным изданием этот перевод вышел в 1909 году в Ростове-на-Дону в издательстве «Дешевая книга».

За годы Советской власти «Джек Реймонд» выходил три раза в сокращенном переводе С. Я. Арефика (изд-во «Пучина», М. 1925, 1926, 1927).

Впервые «Джек Реймонд» на русском языке полностью напечатан в издании: Э. Л. Войнич. Сочинения в двух томах, т. 1, М., Гослитиздат, 1963.

- [ДЖЕК РЕЙМОНД](#)
 - [ГЛАВА I](#)
 - [ГЛАВА II](#)
 - [ГЛАВА III](#)
 - [ГЛАВА IV](#)
 - [ГЛАВА V](#)
 - [ГЛАВА VI](#)
 - [ГЛАВА VII](#)
 - [ГЛАВА VIII](#)
 - [ГЛАВА IX](#)
 - [ГЛАВА X](#)
 - [ГЛАВА XI](#)
 - [ГЛАВА XII](#)
 - [ГЛАВА XIII](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

ДЖЕК РЕЙМОНД

...рассудите меня с виноградником моим^[1].

ГЛАВА I

— И это у вас тут называется хорошей дорогой? — сказал доктор Дженкинс.

Он остановился на середине косогора и стал осматриваться, давая рыбаку Тимоти, который встретил его на станции, время опустить наземь тяжелый чемодан и перевести дух перед новым подъемом. Позади, меж диких гранитных глыб и кустиков дрока, вилась крутая горная дорога. Впереди она взбегала еще круче, каменистая, окаймленная мокрыми, увядшими метелками вереска, и, обогнув замшелую скалу, скрывалась из глаз. А по сторонам тянулась унылая вересковая пустошь; багрово пламеняя, заходило гневное солнце; мчался с пронзительными проклятиями свирепый северный ветер; далеко внизу, у подножья утесов, роптало угрюмое, безрадостное море; и это было все. Быть может, в летнюю пору, когда вереск цвел золотом и пурпуром, долина выглядела приветливой; наверно, даже это пепельно-серое море солнечным утром после дождя умело светиться нежной зеленью и синевой; но доктор никогда прежде не бывал в Корнуэлле, и в этот декабрьский вечер все здесь казалось ему леденяще холодным, суровым и беспросветным.

Солнце кануло за горизонт, оставив на воде красную полосу, кровавый след, который волны поспешили смыть. Тимоти снова вскинул чемодан на плечо.

— Теперь уж недалеко, сэр; дойдем засветло. Эге, да это Ричардс из Гарнардсхеда, и его хозяйка с ним. Добрый вечер, хозяин!

Из-за выступа скалы выехала, тарахтя на неровной дороге, тележка, груженная яблоками. Фермер шагал рядом со своей малорослой лошадкой; если б не то, что у него было две ноги, а у лошади четыре, их можно было бы принять за близнецов, так они были похожи: оба коренастые, спокойные, у обоих та же неторопливая уверенная поступь. В тележке, полной яблок, дремала старуха.

— Это наш новый доктор, — сказал им Тимоти. — Теперь у нас в Порткэррике два доктора, ведь доктор Уильямс не уезжает, хоть он уже старый и почти не лечит. Ну как, сэр, отдохнули?

И они опять стали взбираться на гору, а фермер Ричардс со своей лошадкой медленно двинулся вниз по дороге.

— Постойте-ка! — сказал доктор, оборачиваясь. — У старика что-то случилось с тележкой. Смотрите, он делает нам знаки. Что такое?

Ричардс яростно размахивал кнутом и пытался перекричать ветер.

— Полиция! — отчаянно вопил он. — Убивают! На помощь! Полиция!

— Господи, спаси и помилуй! — охнула старуха, молитвенно складывая руки. — Опять эти разбойники!

Из-за ближнего бугра стремглав выбежал рослый, крепкий черноволосый мальчишка; лицо его, темное от загара, показалось доктору на редкость уродливым. Следом мчались десятка два дьяволят поменьше, все они размахивали палками и выпускали воинственные клики. Шайка налетела так внезапно, что фермер и оглянуться не успел, как лошадь выпрягли, тележку опрокинули, яблоки покатались в грязь, и старуха, стоя у обочины, уже ломала руки и жалобно причитала над таким разорением. Тимоти и доктор кинулись на выручку, но тут Ричардс, опомнясь, пустил в ход кнут. После жаркой стычки мальчишки отступили и с визгом и воплями пустились врассыпную по косогору; набитые яблоками карманы оттопыривались. Гнаться за ними было безнадежно; но один из грабителей, веснушчатый, тощий и нескладный, удирая, споткнулся о камень и растянулся на земле. Фермер тотчас набросился на него с кулаками.

— Джек! — завопил пойманный. — Джек!

Вожак был уже тут как тут — ловкой подножкой он свалил грузного фермера наземь, рывком поднял за шиворот упавшего мальчишку, подтолкнул в спину, и тот сломя голову пустился бежать под гору. Потом вожак огляделся — не нужно ли еще кого-нибудь выручить. Ясно было, что таков обычай: он должен был нападать первым и отступать последним. Он уже хотел бежать за остальными, но тут на плечо ему опустилась незнакомая рука.

— Одного я все-таки поймал, — сказал доктор Дженкинс. — Нет, не бейте его, — прибавил он и перехватил занесенный кулак фермера. — И сколько бы вы ни бранились, приятель, этим тележку не поднять; помогите ему, Тимоти, а мальчика предоставьте мне.

Через минуту Тимоти пыхтел над опрокинутой тележкой; фермер, все еще бормоча ругательства, присоединился к нему; старуха тем временем подбирала раскатившиеся яблоки.

— Ты, видно, далеко пойдешь, чертенок, — сказал доктор Дженкинс пленнику, который извивался, как угорь, в его руках, стараясь вырваться. — Как тебя зовут?

— А вас?

— Так ведь это Джек Реймонд, сэр, — сказал Тимоти, — Племянник нашего vicar.

— И родной сын самого сатаны, — из-под тележки подал голос

фермер.

Смуглолицый бесенок ухмыльнулся этому комплименту, блеснув белыми зубами.

— Племянник викария! — недоверчиво повторил доктор Дженкинс — А ну, стой смирно, мальчик, не вертись так. Я тебе ничего не сделаю.

Глаза Джека округлились в презрительном недоумении, и стало видно, какие они темные и вместе с тем блестящие.

— Ясно, не сделаете!

Он все же перестал брыкаться и выпрямился. Он был на редкость некрасив, но как-то совсем по-особенному, лицо грубое, дикое, однако без всяких следов вырождения, несмотря на тяжелую челюсть; напротив, голова прекрасной формы, а глубоко сидящие глаза были бы просто великолепны, смотри они не так мрачно и угрюмо.

Необыкновенно широко расставленные, под черными, сросшимися бровями, они придавали этому странному лицу выражение силы и сосредоточенности, которое пристало бы скорее бизону, нежели мальчишке.

— Стало быть, ты и есть атаман этой шайки сорванцов? — сказал доктор. — И какое же твое любимое занятие, разреши узнать? Воровать у бедняков и пугать до полусмерти старух, а?

— Да, — сказал Джек, глядя ему прямо в глаза. — И еще жалить, когда можно, вон как эта оса у вас в бороде.

Доктор Дженкинс, забыв, что на дворе зима, поднес руку к лицу. И тотчас покачнулся от меткого сильного удара; а когда сообразил, что его провели, Джек уже удирал со всех ног.

Доктор прислонился к скале и захохотал так, что на глазах у него выступили слезы. Сердиться было невозможно, уж очень ловко мальчишка его одурачил.

— Ну и чертенок! — промолвил он наконец, переведя дух. — Первый раз такого вижу!

— А ведь этот малец вырос в благочестивом доме, — рассказывал ему Тимоти, когда тележку привели в порядок и они уже снова шагали в гору. — С шести лет его наставляли в христианском духе, и перед глазами у него самолучший пример. И все зазря. Нет уж, горбатого могила исправит.

— Сдается мне, — заметил доктор, — что этому молодцу добрая трепка была бы куда полезнее христианских наставлений и хорошего примера. Просто из него надо выбить дурь.

— Что вы, сэр, — возразил Тимоти, — ни одного мальчишку в Порткэррике так не лупцуют, как Джека Реймонда, по крайности с тех пор,

как помер сам капитан.

— Кто?

— Капитан Джон, викариев меньшей брат. В октябре сравнялось три года, как он в бурю утонул возле Ленде Энда — других спасал, а сам погиб. А у нашего викария своих детей нет, он и взял сирот, потому как они остались почитай без гроша, ну, он и исполнил свои долг, как положено христианину.

— Значит, мальчик не один?

— Еще сестренка у него, сэр, восьми лет от роду, и такая славная девчурка, на этого бесенка ну ни капельки не похожа, все равно как сардинка на камбалу. Она вся в Реймондов.

— И викарий очень строг с мальчиком? Тимоти поджал губы.

— Видите ли, сэр, некоторые джентльмены из школьного совета говорят, что он малость пересаливает; даже прозвали его «пастырь с палкой», потому как он за то, чтоб ребят в школах побольше драть. А только, по-моему, он прав, сэр; всякий человек по нутру своему отпетый грешник, а без битья разве внушить мальчишке страх божий?

— Ну, этому как будто не очень-то внушили.

— Так ведь в нем дурная кровь. Бедняжка миссис Реймонд из-за него сколько слез пролила. Она, знаете, из-под Сент-Айвс, из очень почтенной семьи; вся родня — люди благочестивые, и ничего такого за ними сроду не водилось. Женщина богобоязненная, добрая христианка, беднякам помогает, как оно полагается жене священника, и с этими сиротами нянчилась, будто с родными, хоть они ей вовсе не родня. В маленькой Молли ну просто души не чает. И уж так старалась того дьяволенка образумить лаской, а сам викарий — таской, да только это все равно что сажать картофель на Раннелской скале. Мальый весь в мать.

— А кто она была?

— Отъявленная блудница, сэр, лондонская актерка. Капитан Джон был молодой да глупый, вот и женился на ней, опозорил порядочный дом. Один бог знает, кем она была до замужества. Верите ли, сэр, табачищем дымила, как мужчина, а в церковь ни ногой. И никакого приличия, скачет, как коза, да зубы скалит — его старики родители, верно, в гробу перевертывались! В ненастье шляется по берегу под утесами, песни поет, волосы распущены, ну ни дать ни взять помешанная. Да я раз своими глазами видел — сидит на камнях без малого нагишом, болтает босыми ногами в луже, а какой-то полоумный ветрогон из Лондона портрет ее малюет — шут долговязый! И ведь страшна была, как смертный грех, по мальчишке видите, а капитан Джон по ней с ума сходил. И все равно, родивши дочку, сбилась она с пути

вконец: «подписала контракт» — так она выражалась — и удрала в Париж играть в театре. Как сказано в писании, «пес возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи»^[2]. А там, я слышал, заразилась она холерой и померла без покаяния. Ясное дело, бог наказал. А капитан, дурак несчастный, чем бы радоваться — слава богу, мол, избавился, — стал по ней убиваться и до последнего дня ходил сам не свой...

— Это и есть Порткэррик? — прервал рыбака доктор, когда дорога круто повернула и перед ними открылась узкая горная долина и угнездившийся меж двух утесов рыбачий поселок.

— Он самый, сэр, а вон там, за Утесом мертвеца, маяк. Вон в том белом доме — школа мистера Хьюита; многие хорошие господа посылают туда своих сыновей, наш викарий там попечителем; а тот большой дом повыше называется «Вересковый холм», там живет наш сквайр.

— А что это за старейший дом возле церкви, весь заросший плющом?

— Это дом викария.

На другое утро, вернувшись после первой прогулки по поселку, доктор Дженкинс нашел у себя на столе визитную карточку: «Преподобный Джозайя Реймонд, церковный дом, Порткэррик, графство Корнуэлл».

— Викарий велел передать, что еще зайдет, — сказала хозяйка. — Он, видно, совсем расстроился; наверно, все из-за этого нечистого духа, из-за Джека; говорят, он вчера в горах до смерти напугал бедняжку миссис Ричардс, и тележку им разбил, и лошадь покалечил, и...

— Ну, ну, полно, — прервал доктор, — не так уж все страшно. Я там был и все видел. А что, Ричардс пожаловался?

— Да, сэр. Говорят, викарию нынче утром пришлось дорого заплатить ему за убытки; он грозился подать в суд за оскорбление действием...

— Какая чепуха! После обеда я навещу викария и сам расскажу ему, как было дело.

Когда доктор Дженкинс входил в церковный сад, за живой изгородью из фуксий послышался быстрый легкий топоток. Не успел он отступить, как девчурка в полотняном фартуке, вылетев из-за угла, с разбегу ткнулась ему в колени и тотчас отпрянула, откидывая со лба густые золотистокаштановые кудри.

— Ой, извините, сэр! Я сделала вам больно?

Доктор удивленно посмотрел на нее: неужели эта хорошенькая девочка — сестра Джека Реймонда?

— Больно? Это чем же — наступив мне на ногу? Боюсь, что это я тебя

ушиб. Так ты и есть племянница мистера Реймонда?

— Я Молли. А вы пришли к дяде?

Она повела его в дом; по дороге он безуспешно старался завязать с ней разговор. Он очень любил детей, и Молли — чистенькая, здоровая, немного застенчивая, но без неуклюжести, вся в золотистом загаре и веснушках от воздуха и солнца, — показалась ему просто очаровательной. Но, хоть и прелестная, она вовсе не обещала вырасти красавицей: волосы и цвет лица были светлее, чем у брата, и выражение не такое мрачное, но и у нее тоже, правда не столь резко, выдавался подбородок, и был такой же упрямый рот; зато глаза совсем не такие, как у Джека, на диво голубые и ясные.

Преподобный мистер Реймонд оказался человеком уже немолодым, серьезным и не очень-то приветливым, с глазами такими же холодными и безжизненными, как его седеющие волосы. Держался он по-солдатски прямо, но не по-солдатски скованно. Чувствовалась в нем какая-то старомодная чопорность и в то же время терпеливое достоинство, словно этот человек ни на минуту не забывал, что создан по образу и подобию божию. Сторонник строгого порядка, он не терпел никакой лишней растительности, а потому был чисто выбрит и выставлял напоказ самую неприглядную черту своего лица — рот, в углах которого было что-то жестокое, бесчувственное, точно у китайского идола. Будь в чертах этого лица чуть больше округленности и законченности, оно было бы одухотворенней и внушало бы если не симпатию, то уважение; а так этот человек казался каким-то одноцветным чертежом добродетели.

Он сразу отослал Молли и принялся пространно извиняться за «нечистого духа» Джека. Видя, что он принимает случившееся так близко к сердцу, гость добродушно прервал хозяина, рассказал, как было дело — на его взгляд, ничего страшного, обыкновенное мальчишеское озорство, — и перевел разговор на другое.

Вскоре подали чай, и в комнату вошла миссис Реймонд — полная, кроткая, явно очень добрая женщина, постарше мужа; ее негустые, высоко поднятые брови словно навек застыли в горестном недоумении. Черное платье — образец аккуратности, ни единый волосок не выбивается из прически. К ней застенчиво льнула Молли, на которую любо было посмотреть: чистый белый фартучек, заботливо расчесанные кудри перевязаны лентой. Казалось, с приходом этой женщины и ребенка в комнату вошли мир и уют. Хлеб, масло, печенье — все, несомненно, было домашнего приготовления и потому превосходно; а когда после чая миссис Реймонд села у окна вышивать платье для Молли, гость убедился, что она такая же мастерица рукодельничать, как и стряпать. Притом и сердце у нее,

конечно, было отзывчивое, — недаром Молли еще неумело, но старательно вязала шарф из красной шерсти: видно, девочка уже знала, как важно позаботиться о теплой одежде для бедняков. И доктор Дженкинс подумал, что этой кроткой и мягкой женщине, наверно, подчас нелегко приходится между мужем и племянником.

— Сара, — сказал викарий, когда чай отпили и со стола было убрано, — я уже говорил доктору Дженкинсу, как глубоко мы сожалеем о том, что произошло вчера на дороге. Он столь добр, что отнесся к случившемуся весьма снисходительно и вполне удовлетворен моими извинениями.

Миссис Реймонд обратила на гостя кроткий взгляд.

— Нам так неприятно, что мальчик доставил вам беспокойство. Но, поверьте, мы делаем все, что можем. Вы очень добры, что не требуете его наказать...

— Он все равно будет наказан, — спокойно сказал викарий. — Его выходка уже записана в кондуит.

— Надеюсь, не из-за меня? — заметил доктор Дженкинс. — На мой взгляд, все это пустяк, ребячество, я бы и не подумал жаловаться, если бы вы не узнали об этом раньше.

— Вы очень добры, — возразил викарий, — но я ни одного проступка не оставляю безнаказанным.

«Боже правый, и длинный же, наверно, список грехов у этого мальчишки!» — подумал доктор. И постарался поскорей перевести разговор на более безобидные темы. Тут он убедился, что викарий — весьма приятный собеседник, человек довольно образованный, с трезвым и ясным умом. Он принимал близко к сердцу все, что касалось местной благотворительности и благочестия, живо интересовался миссионерской деятельностью. Он подробно рассказывал гостю о своем участии в Миссии рыбаков, как вдруг громко хлопнула входная дверь, и миссис Реймонд, пугливо встрепенувшись, подняла глаза от шитья.

— Джек! — позвал викарий, поднялся и отворил дверь. — Поди сюда. А ты беги наверх играть, дитя мое, — прибавил он, обращаясь к Молли.

— Не забудь переменить фартук, — сказала миссис Реймонд, когда девочка выходила из комнаты. — И попроси Мэри-Энн... Ох, Джек, в каком ты виде! Где ты был?

Джек ввалился в комнату, не вынимая рук из карманов. Тотчас понял, что речь шла о нем, и остановился у двери, исподлобья глядя на гостя. Он стоял хмурый, чумазый и встрепанный, выставив упрямый подбородок, куртка на нем была порвана и в грязи, насквозь промокшие башмаки пачкали безупречный ковер, — сразу видно было, что это скверный

мальчишка, грубиян и сорванец, проклятие семьи.

— Ты не забыл этого джентльмена? — спросил викарий ровным голосом, который не предвещал ничего доброго.

— Уж он-то меня, верно, не забыл, — отозвался Джек. В четырех стенах голос его казался странно, не по возрасту звучным и мужественным.

— Конечно, не забыл! — весело подтвердил гость, все еще надеясь отвести надвигающуюся грозу. — Поди сюда, мальчик, дай мне руку в знак, что мы с тобой не в обиде друг на друга.

Джек, насупясь, молча смотрел на него.

— Подойди и дай руку, — сказал викарий, по-прежнему не повышая голоса, но глаза его гневно вспыхнули. — Ты еще не извинился, твоей тетке и мне пришлось сделать это за тебя.

Джек неуклюже подошел и протянул гостю грязную левую руку, по-прежнему не вынимая правую из кармана.

— Почему не правую? — удивился доктор Дженкинс.

— Не могу.

— Что ты опять с собой сделал? — спросила миссис Реймонд, не замечая, как дрогнул ее голос на слове «опять». — Смотри, весь рукав в грязи, и ты порвал свою новую куртку!

— Вынь руку из кармана, — сказал викарий, и в голосе его зазвучала еле сдерживаемая ярость.

Рука, обернутая грязным, запятнанным кровью платком, оказалась вся в царапинах и ссадинах.

— Как ты это сделал?

Джек хмуро поглядел на дядю.

— Лазил на Утес мертвеца.

— Я ведь строго запретил тебе туда ходить?

— Да.

— Ох, Джек! — беспомощно вздохнула тетка. — Почему ты такой непослушный!

Викарий достал тетрадь прегрешений и вписал туда новый проступок.

— Иди в свою комнату и жди меня, — только и сказал он.

Джек пожал плечами и, насвистывая, вышел. Миссис Реймонд беспокойно покосилась на мужа и вышла следом.

— Бесплезно от вас скрываться, — со вздохом сказал гостю викарий. — Волей-неволей вы теперь посвящены в нашу семейную тайну. Дурные наклонности моего племянника давно уже тяжкий крест для нас с женой. Самый тяжкий из всех, какие угодно было богу на нас возложить.

— Он своенравен, но с годами это наверно пройдет, — попробовал его

успокоить доктор. — В конце концов многие очень достойные люди были в детстве озорниками.

— Озорниками — да; но, к несчастью, в моем племяннике мы вынуждены бороться не просто с ребяческим озорством; пагубные наклонности передались ему по наследству.

Несколько минут викарий смотрел на огонь в камине, потом покорно развел руками.

— Если Тимоти еще не рассказал вам эту злополучную историю, вы, конечно, скоро услышите ее от наших деревенских болтунов. Джек унаследовал от матери неисправимый нрав, у его пороков слишком глубокие корни. Ни уговоры, ни строгость на него не действуют; уже много лет мы прилагаем все усилия, пытаюсь пробудить в его душе хоть искру доброго чувства, но он ведет себя все хуже и хуже. Благодарение богу, в Молли, до сих пор во всяком случае, мы не замечали никаких дурных наклонностей; но этот мальчик безнадежен.

Выбрав удобную минуту, доктор Дженкинс поспешил уйти. Он был по горло сыт разговорами о Джеке и его грехах. «Пропади оно все пропадом! — думал он. — Если меня всюду будут пичкать жалобами на этого щенка, придется вывесить на моей двери объявление: о преступлениях племянника викария просьба не упоминать!»

Он прошел через сад; возле дровяного сарая какой-то шорох привлек его внимание, и он поднял глаза. На коньке покато́й крыши сидел верхом Джек, видимо, вполне довольный своей опасной и неприступной позицией; в одной руке у него был толстый ломоть хлеба, в другой — совершенно зеленое кислое яблоко, должно быть, остаток вчерашней добычи, и он с жадностью поглощал то и другое.

— Эй! — окликнул доктор. — Ты как сюда попал? Помнится, тебя послали наверх.

Сорвиголова только посмотрел на него и опять с хрустом запустил зубы в яблоко. От одного этого звука доктор почувствовал оскмину.

— Если ты будешь так уплетать неспелые яблоки, у тебя разболится живот.

— Некогда мне разговаривать, — с набитым ртом ответил Джек. — Пора домой, сейчас меня будут лупить, а я сперва хочу подкрепиться.

— Похоже, что предстоящая лупцовка не отбила у тебя аппетит.

Джек пожал плечами и принялся за новое яблоко. По дорожке тяжело бежала миссис Реймонд, она задыхалась и ломала руки.

— Джек! Джек! Где ты? Скорей иди домой, гадкий мальчишка. Ох, скорее, милый, а то дядя совсем рассердится!

Тут она увидела на дорожке гостя и остановилась как вкопанная. Джек ухмыльнулся.

— Видали добрую душу? Она всегда распускает нюни, когда меня дерут.

— Ты-то, наверно, нюни не распускаешь?

— Я? — с презрением переспросил Джек. — Я не баба. Дядя уже пошел наверх, тетя Сара? Бьюсь об заклад, я буду на месте раньше его.

Одним прыжком, с ловкостью настоящего акробата, он перелетел с крыши на подоконник. Потом, цепляясь за плюц, подтянулся к карнизу, выступавшему над нижним этажом, точно кошка вскарабкался на него и исчез в окне второго этажа.

Миссис Реймонд обернулась к гостю.

— Что мне с ним делать? — в отчаянии сказала она.

ГЛАВА II

Мальчики гурьбой выходили из школы. Уроки в этот день кончились рано, летнее солнце так и сияло — и все или почти все были в отменном настроении. Джим Гривз, самый старший и притом важная особа (ему было уже почти семнадцать, и он получал вдоволь карманных, денег), шагал под руку со своим закадычным дружкой Робертом Полвиллом, которого за привычку обижать малышей прозвали «ягненком»^[3]. В школе их обоих, не любили, но Джим был едва ли не богаче всех, а Роб, пожалуй, всех сильнее, вот почему им многое прощали, а чего не прощали, то молча терпели. Жилось в Порткэррике скучно, и поэтому они оба вступили в шайку головорезов Джека Реймонда, куда входили мальчики разного возраста и склада, дети очень разных родителей; и хотя эти двое были много старше атамана, он правил уверенной рукой и держал их в строгости. А между тем ни Гривз, ни Полвилл не проявляли вкуса к разбойничьим набегам, да и Джека оба недолюбливали: хоть они и не поминали об этом, но оба еще не забыли, как годом раньше он дрался по очереди с ними обоими из-за того, что они мучили щенка. Ему тогда порядком досталось от более сильных противников, но и он, дерзкий и увертливый, задал им жару, а потом, с распухшим носом и подбитым глазом, весело отправился домой, где за драку дядя по обыкновению его избил.

После этого случая они относились к своему воинственному атаману с должным почтением, и их тайная неприязнь к нему выражалась лишь в двусмысленных замечаниях, которые наверняка привели бы его в ярость, если б только он их понимал. За глаза над ним потешалась вся шайка: не смешно ли, их вожак, первый во всяком озорстве, еще до того желторот, что не понимает шуточек Роба Полвила! Быть может, именно потому, что это всех очень забавляло, а не только из страха перед его кулаками, Джека не спешили просветить.

А Джек уже забыл о драке из-за щенка и, разумеется, не помнил зла тогдашним противникам. Не за одно, так за другое ему влетало чуть не каждый день; что же до остального, Джек был еще совсем дикарь: в этом возрасте мальчишки дерутся не только сгоряча, но и просто ради удовольствия. И все же, сам не зная почему, он не любил Гривза и Половила, не любил и страдающего одышкой толстяка Чарли Томпсона, чьи руки вызвали у него безотчетное отвращение. Как почти всегда бывает с натурами первобытными, Джека отталкивало все нездоровое,

возбуждая какую-то чисто физическую брезгливость. Но, странным образом, это безошибочное чутье еще ни разу не остерегло его от викария; его чувство к этому человеку было стихийно простым: он ненавидел дядю всем своим существом, как любил животных, как презирал тетку.

Мистер Хьюит, учитель, шагал по дорожке, не поднимая глаз; он не разделял общего хорошего настроения. Его угнетало сознание ответственности, ибо он был человек добросовестный, а природа не создала его воспитателем.

— Опять они вместе, — пробормотал он себе под нос, глядя вслед двум взявшимся под руку великовозрастным ученикам.

— Вечно они что-то затевают, — слышалось у него над ухом.

Мистер Хьюит обернулся, и лицо его просветлело: его догнал помощник викария; их связывала давняя дружба.

— Мне эта история просто не дает покоя, Блэк, — сказал он. — Как, по-вашему, викарий что-нибудь подозревает?

— Нет, конечно, а то бы он всю школу перевернул вверх дном. Вы же знаете, он не прощает безнравственности. Да вот, когда он на днях кричал на эту Роско, я думал, у нее со страха начнется истерика. Все это прекрасно, Хьюит, но он хватается через край. Девушка еще слишком молода и слишком мало понимает, несправедливо так на нее нападать.

— Нет, я не согласен. Он приходский священник, должен же он узнать имя соблазнителя, чтобы оберечь от него других девушек. А она отказалась его назвать просто из упрямства.

— А может быть, из страха. Во всяком случае, эти мальчики...

Учитель отшатнулся.

— Господь с вами! — воскликнул он. — Уж не думаете ли вы, что эту Роско совратил кто-нибудь из моих учеников?

— Нет, конечно, нет. Это какой-нибудь молодой рыбац... То есть...

Минуту оба молчали. Видно было, что молодой священник встревожен и огорчен.

— Я прежде об этом не думал, — продолжал он, — но Гривз и Полвил... Впрочем, не стоит заранее пугаться, может быть, ничего страшного и не случилось. Бог свидетель, хватит с нас и той скверной истории.

— Да, вы правы; а хуже всего то, что, боюсь, первую скрипку в ней играл племянник викария.

— Вы уверены, Хьюит? Правда, большего озорника я в жизни своей не встречал, но на такую гадость он, по-моему, не способен. Если бы вы сказали это про Томпсона...

— Ну, относительно Томпсона у меня нет никаких сомнений. Но я боюсь, что и Джек очень испорчен; он такой грубый и черствый. А если так, при своем влиянии на остальных он становится просто опасен. Вы же знаете, он верховодит всегда и во всем. Просто не понимаю, как я скажу мистеру Реймонду о моих подозрениях, он столько труда и забот положил на нашу школу. Знаю одно: если разразится скандал и мальчиков исключат, да еще нагрянут репортеры и о племяннике напишут в газетах, викария это убьет. Кто там? Греггс?

Из-за кустов дрока вышел мальчик небольшого роста, с мелкими чертами лица и несмелым взглядом выпуклых, слишком близко посаженных глаз; он снял шапку и смущенно ухмыльнулся. Это был сын здешнего кузнеца, верная тень Джека Реймонда; если бы не пагубное влияние Джека, этот мальчишка, должно быть, никогда не посмел бы залезть в чужой сад. Он был по натуре торгаш и, участвуя в разбойничьих налетах под предводительством Джека, как и прочие ученики мистера Хьюита, заодно продавал товарищам птиц, хорьков, всякую рыболовную онасть, а потому всегда был при деньгах.

— Могу я сегодня послать тебя с запиской? — спросил священник.

— Только если Джек меня отпустит, сэр. Он собрался ловить рыбу и велел мне обождать его здесь.

— Вот видите, — со вздохом сказал другу Хьюит, когда они пошли дальше. — Джек велел ему ждать — и он прождет хоть до ночи, но не ослушается. Такими Джек может вертеть, как хочет.

Билли Греггсу и в самом деле пришлось ждать долго; наконец явился его повелитель — злой, насупленный — и отпустил его, сказав коротко:

— Ничего не выйдет, Билл.

— Разве ты не пойдешь, Джек?

— Не могу. Погода хорошая, вот эта подлая скотина и засадила меня за свою гнусную латынь.

— Кто, старик Хьюит? С чего это...

— Да не он, дядя. Он всегда делает мне назло.

— Ты, верно, опять его чем-нибудь взбесил?

— А, вечная история — почему я не уважаю епископа. Хоть бы этот епископ воскрес минут на пять, я бы его стукнул по башке!

Епископ, о котором шел разговор, — знаменитый и ученый дядюшка предыдущего поколения Реймондов, единственный в этом семействе, кто достиг высоких степеней, — был в доме викария своего рода идолом. С каждой мелочью, так или иначе напоминавшей о нем, обращались, как со святыней; а Джек то и дело нарушал это семейное табу и в наказание

должен был в свободные часы переписывать сотни «штрафных строк», — не удивительно, что он терпеть не мог своего знаменитого предка.

— Помнишь ножик с зеленой рукояткой? Дядя вечно над ним трясется, потому что это подарок епископу от какого-то там герцога. Я только взял его сегодня, чтоб починить удочку, а тут вошел дядя и поймал меня, и уж до того разозлился! Я удрал с черного хода сказать тебе. Постараюсь отделаться поскорей. Прощай.

И он побежал прочь.

— Джек! — крикнул вдогонку Билли. — Когда отделаешься, приходи к нам за хлев, будет весело.

Джек остановился.

— А что такое?

— У нас Белоножка телится, и что-то с ней не так. Отец позвал ветеринара что-то ей лечить. В сарай он меня не пустит, но позади, где свалена зола, есть щель, и можно...

Джек вдруг вспыхнул.

— Билл Греггс, только попробуй полезь, куда не просят! Если я увижу, что ты подсматриваешь, ветеринару придется лечить тебя самого, гаденыш ты этакий.

Билл покорно замолчал, но про себя усмехнулся: ну, ясно, их строгий командир не понимает очень многих вещей, которые говорятся и делаются у него под носом.

— Ладно уж, — сказал он смиренно, — не рычи на меня. Слушай, хочешь певуна?

— Ручного?

— Ну, приручить можешь сам. Я вчера поймал одного в лощине, — и хорош же! Отдам за девять пенсов.

— А где я возьму девять пенсов?

— Да ведь у тебя на днях было полкроны?

Джек пожал плечами; у него в карманах деньги никогда не залеживались.

— Теперь у меня только два с половиной пенса.

— Ладно! Тогда отдам Гривзу, он у меня уже просил. Выколю сегодня глаза и отдам.

Ровные прямые брови Джека мрачно сдвинулись.

— Не тронь птицу! — сказал он с сердцем. — Для чего это выкалывать глаза? Она и без того будет хорошо петь.

Во второй раз услышав из уст атамана такие чувствительные слова, Билли не удержался и хихикнул:

— Вот не ждал от тебя нежностей! Конечно, выколю глаза, так полагается. Подумаешь, велика беда; просто надо всадить в пробку иглу, раскалить ее докрасна и...

— Ты сперва покажи мне этого певуна, — не дослушав, приказал Джек. — Я к чаю отделаюсь.

Все еще хмурясь, он пошел прочь. Быть может, мадьярская кровь, унаследованная от матери, сделала его не в меру самолюбивым, но мысль, что кто-то над ним посмеется, нестерпимо жгла его гордую душу. Он злился на себя: охота была кипятиться, если кто-то там, хихикая, подглядывает за всякими непристойностями или выкалывает птицам глаза! Ему-то какое дело? Отчего ему невоготу, когда другим наплевать?

И все-таки до самого вечера птица и раскаленная игла мешали Джеку сосредоточиться на латинских стихах, и он все больше мрачнел. Его воспитание, сама обстановка, в которой он рос, медленно, но упорно ожесточали его и уже почти уничтожили мягкость и отзывчивость, какими, быть может, наделила его природа,— и, безмерно гордый тем, что слышет первым головорезом во всей округе, он чуть ли не стыдился, когда что-нибудь задевало в нем чувствительные струнки, о которых никто, кроме него, не подозревал. К тому времени, как с латынью было покончено, ему уже не терпелось выкинуть какую-нибудь отчаянную штуку, чтобы разом отплатить дяде за испорченный день и вновь подняться в собственных глазах и в глазах Билли Греггса. Он вытер перепачканные чернилами пальцы чистой теткиной скатертью, запустил всю пятерню в свою спутанную черную гриву и стал напряженно думать.

В соседней комнате викарий готовил проповедь к воскресному утру. Перо его бегало по бумаге быстрее, чем всегда, губы по обыкновению были плотно сжаты. Он не намерен щадить дочь фермера Роско и ее неизвестного соблазнителя, пусть эта проповедь как громом поразит весь Порткэррик. Самой девушке и гордому беспомощному старику — ее отцу — наверно, придется все это выслушать: семья Роско аккуратно посещает церковь; но мистер Реймонд не из чувствительных. То, что он именовал ее преступлением, не вызывало у него жалости: в молодости и он знал искушения, но Мэгги Роско не могла бы их понять.

— Эй! Билл!

Билли Греггс тыкал прутиком жирную улитку; он обернулся на крик: с холма, поросшего вереском, к нему бежал Джек Реймонд.

— Переписал свою латынь?

Джек растянулся среди вереска.

— Да, наконец-то.

Билли опять занялся улиткой. Джек с наслаждением повалялся немного, от нечего делать дрыгая ногами в воздухе, как беспечный дикарь; потом сел, достал из кармана ножик, открыл его грязным, обломанным ногтем и принялся строгать палку, весело напевая: «Будь хорошим, мальчик Томми, уступи местечко дяде...» Билли минуту-другую молча наблюдал.

— Слушай-1ка, — вдруг сказал он, — что это за нож?

— А тебе какое дело?

— Просто так. Дай поглядеть.

Разжав крепкие смуглые пальцы, Джек показал ему свое орудие. Нож, видно, был дорогой, с малахитовой рукояткой, на золотой пластинке выгравированы какие-то буквы.

— Джек, да ведь это... это нож епископа! Усмехнувшись, Джек сунул нож в карман.

— Как ты его раздобыл?

— Может, дядя мне его дал за то, что я такой паинька.

— Так я тебе и поверил!

— А может, я сам его взял.

Билли негромко свистнул.

— Ох, и влетит же тебе!

— Наверно, — коротко подтвердил Джек и каблуком вдавил в землю кустик вереска. И, помолчав, прибавил: — Послушай, Билл.

— Чего тебе?

— Давай меняться.

— Что на что?

— Отдай мне того певуна за ножик.

Билли, раскрыв рот, порывисто сел и уставился на Джека: «певуну» — обыкновенному певчему дрозду — цена от силы шиллинг; а этот ножик, если узнают, что Джек его украл, обойдется ему...

— Слушай, Джек, да ведь дядя всю шкуру с тебя спустит!

Джек пожал плечами.

— Ну, выдерет, эка невидаль. Я ведь не девчонка.

— Да, дела! — Билли повернулся, оперся на локти и с любопытством стал разглядывать приятеля. — Слушай, тебя лупят почем зря, а? Говорят, твой дядька просто зверь, палки из рук не выпускает.

— Он меня больше палкой бить не будет. В прошлый раз так и сказал. Говорит, когда я опять проштрафлюсь, он высечет меня хлыстом, — может, меня хоть хлыст исправит.

— А за что он тебя тогда бил? Ответы Джека становились все скупее.

— Уж не помню. Перед этим — за то, что стащил груши с чердака. Старая дева, сестра сквайра, пришла в гости в новом чепце, а я с крыши в нее грушами. Пропал ее чепец.

— От груш-то?

— От гнилых. Хорошие я съел — половину до взбучки, половину после, на закуску.

— С тебя, видно, как с гуся вода!

— А то нет! — презрительно отозвался Джек.

Билли призадумался. Если мальчишка и ухом не ведет, когда его так лупцуют, его поневоле уважаешь, хоть и смешно, что он такой наивный теленок, а подчас и просто слюнтяй.

— Ты и правда хочешь меняться?

— Ясно, хочу. Где птица?

— Дома. Только... знаешь, что...

— Ну?

— Ты, случаем, не...

— Чего еще?

— Не впутаеть меня...

Тяжелая рука Джека опустилась ему на шею, и он повалился в траву.

— Еще чего скажешь!

— Да я только... если твой дядя...

— Билл Греггс, уж если я меняюсь, так меняюсь. Ты получишь нож, а я дрозда и выволочку. Понятно? Ну, хватит болтать, иди тащи сюда птицу.

— Ладно, раз тебе своей шкуры не жалко, мне-то что.

И он побежал домой. А Джек опять растянулся на земле и, лениво постукивая каблуком о каблук, задумался. Последствия, которыми грозила эта сделка, были ему совсем не так безразличны, как он старался показать. Теперь, когда некому было на него смотреть, он снова нахмурился; в глубине души он боялся. Но славу «нечистого духа» надо поддерживать; и притом, рассуждал он, на этом свете без побоев не проживешь, это неизбежное зло, вроде стихийных бедствий, на которые в случае чего ссылаются железнодорожные компании. Мальчишку, пока он не вырос, непременно будут бить — по крайней мере сироту с дурными наклонностями, которому досталась двойная доля первородного греха и пагубное сходство с умершей матерью, осужденной на вечные муки; так не все ли равно, когда и за что побьют? А если бы выжгли глаза и пришлось всю жизнь петь, сидя в тесной деревянной клетке, и... Да и забавно будет посмотреть, как разъярится дядя. Кража епископского ножа будет, наверно,

вписана в кондуит и помечена черным крестом; у дяди, видно, короткая память. Вот Джеку не нужны никакие записи и пометки: у него к дяде длинный счет, и он отлично помнит каждую обиду.

Быть может, викарий и не многого достиг, воспитывая этого непокорного упряма, но выдержке он, бесспорно, его научил. Пока жив был капитан Реймонд, Джек совершенно не умел владеть собой: разозлившись, он царапался и кусался, боль приводила его в бешенство. Теперь же он постоянно был зол и давно привык к боли; и научился, стиснув зубы, ждать своего часа. Рано или поздно час наступал — и Джек не упускал случая поквитаться со своими взрослыми обидчиками.

Бегом вернулся Билли с тесной маленькой клеткой из щепок, в которой отчаянно бился злополучный дрозд. Джек взял клетку под мышку и отправился восвояси; никем не замеченный, он проскользнул в дом и спрятал дрозда у себя в комнате.

После ужина он простился на ночь, сказал викарию, что ему надо еще готовить уроки к понедельнику, и, захватив свои книги, пошел наверх. Комнатка у него была крохотная, с низким потолком, но он любил ее больше всех других в доме, потому что одно ее окно выходило на восток, а другое на запад — и он мог смотреть, как всходит и заходит солнце. Он запер дверь, достал из укромного местечка клетку и поставил ее на подоконник окна, выходившего на запад.

— Ну, ну, дурашка! — проворчал он, когда перепуганная птица отпрянула в угол клетки. — Тише, не бойся. Он задаст взбучку мне, а не тебе.

Он сунул в клетку листик салата, который ухитрился припрятать, пока пили чай. Но дрозд по-прежнему дрожал и отчаянно бился в клетке. Джек сел рядом на подоконник, даже на взглянув на закат, и задумался: как же быть?

Сперва он хотел оставить дрозда у себя и приручить. Конечно, толку от него немного. Куда занятней было бы завести скворца: его можно выучить ругаться, пускай бы клял на чем свет стоит и епископов, и ножи с малахитовыми рукоятками, и миссии рыбаков. Но все-таки дрозд — лучше, чем ничего; и уж если из-за него не миновать побоев, так по справедливости надо получить от этой сделки хоть какое-то удовольствие. Да, но дикие зверьки и птицы плохо переносят неволю; а если дрозд попадется на глаза дяде, тот, пожалуй, сразу его пришибет просто Джеку назло. Утопил же он зимой котенка — любимца Молли — в наказание за то, что она запачкала платье! При этом воспоминании глаза Джека потемнели: он ненавидел викария жестокой, молчаливой ненавистью,

которая ничего не забывает и терпеливо ждет своего часа; и в длинном списке злодеяний его заклятого врага утопленный котенок занимал не последнее место. До недавнего времени Джек относился к сестре с олимпийским равнодушием: что ему было до девчонки, которая боится темноты и даже камень кинуть не умеет! Но однажды, придя из школы, он нашел Молли в сарае, глаза ее опухли от слез, рыдания душили ее, потому что Тиддлс умер («Ой, как он кричал!») — и с того дня Джек почувствовал, что он в ответе за сестренку и должен ее защищать.

Нет, ничего не поделаешь, дрозда придется выпустить. Судьба Тиддлса — предостережение: не годится держать в доме живую тварь, как бы ты ее ни любил, если не можешь ее защитить. А на свободе, в Треваннской лощине, дрозд и сам как-нибудь за себя постоит.

— Если ты опять попадешься, глупыш, я уж тебя не выручу, — сказал Джек, поднялся и распахнул окно. — Хватит и одного раза.

Треваннская лощина, окутанная дымкой, золотилась в лучах заходящего солнца. В ясном небе нечему было разгореться слишком яркими красками, только на западе цвели в вышине узкие розовые облачка. С берега доносился легкий плеск волны, набегавшей на гальку; порой жалобно вскрикивала чайка.

Джек отворил дверцу клетки, перепуганный дрозд затрепыхался и отпрянул. Джек немного отступил, и птица стрелой метнулась мимо. Внезапный писк, шелест быстрых крыльев... Джек лег грудью на подоконник и проводил глазами темную точку, которая, становясь все меньше и меньше, понеслась к лощине и скрылась.

Он отошел к постели, сел, ухватился за спинку кровати. Все в нем дрожало, трудно было дышать. Он закрыл глаза и опять увидел макушки деревьев, и золотую закатную дымку, и распростертые крылья живого существа, которое посадили было в клетку, а теперь оно снова на свободе.

Наконец он открыл глаза и хмуро, со страхом огляделся. Как странно, в комнате все по-прежнему, ничего не изменилось, только он стал другим. На столе все так же лежат учебники, на подоконнике — пустая клетка, и с жердочки свисает листик салата. Кстати, клетку надо сломать, не то дядя спросит...

Впрочем, не все ли равно теперь, что скажет дядя.

Джек вернулся к окну и, закинув руки за голову, прислонился к раме. Он смотрел, как угасал закат. Лиловые тени заполнили бескрайние просторы между небом и землей; вершины деревьев в лощине покачались еще немного и застыли; чайки перекликнулись раз-другой, примостились в расщелинах на берегу, и все уснуло.

Потом проглянули звезды — одна, другая, тысячи... Они сияли над тенистыми деревьями и полусонной призрачной вересковой долиной, словно ясные, изумленные глаза; как будто и они только сейчас начали что-то понимать и, глядя сверху на хорошо знакомый лик земли, увидели, что она прекрасна.

ГЛАВА III

Сколько Джек себя помнил, он всегда любил животных и растения, крутые серые утесы и рыжую пену волн.

Да и что, кроме них, можно было любить? Люди, особенно взрослые, до сих пор казались Джеку просто ничтожествами, достойными одного лишь презрения. Разумеется, их не избежать, а подчас они могут быть и полезны; но в них нет ничего интересного и приятного, и они очень мешают жить. А за последние три года в его отношении к старшим вкралось нечто новое: он стал думать, что они — природные, так сказать наследственные его враги. Никакая их грубость и глупость, никакие низкие поступки и мелочные придирки его не удивляли: чего еще ждать от созданий, по самой природе своей тупых, злобных и непоследовательных; однажды придя к такому выводу, он презрительно махнул рукой на все их наставления и запреты, в том числе и разумные и необходимые. Он уже не задумывался над тем, почему ему что-либо запрещают — раз запрещено, значит, уж наверно, зря, безо всякой разумной причины.

Он не знал других взрослых, кроме тех, кому вынужден был подчиняться и кого глубоко презирал. После того, как Джек с Молли лишились своей чернобровой матери, которую он почти не помнил, они четыре года жили в Сент-Айвс на попечении бабушки и тетки — взбалмошной старой девы. Эти две почтенные особы видели в обоих детях наказание божье, посланное им за грехи, и почитали своим долгом через определенные промежутки времени кормить их и мыть, главное — мыть; ни одного мальчика на свете не отмывали так самоотверженно, как Джека. Но как ни полезны холодная вода и мохнатые полотенца, для души подрастающего мальчика этого отнюдь не достаточно; еще совсем крошкой Джек по ночам садился в постели и горько упрекал того большого и непонятного, во образе человеческого, кому велено было молиться.

— Это нечестно, — говорил он. — Зачем ты меня создал и никому не приказал меня любить?

Отец-моряк, во всяком случае, его любил; отрадно знать, что есть на свете человек, который не видит ничего постыдного в том, что ты смугл и некрасив и глаза у тебя черные, как у покойной матери, — отрадно, даже если этот человек почти всегда где-то далеко в море. Но однажды ночью грянула буря, вдоль всего побережья замелькали огни — сигналы бедствия, а наутро приехала мертвенно-бледная тетя Сара с телеграммой. С тех пор

осиротевшие дети жили в доме викария в Порткэррике.

Дядя Джозайя и тетя Сара очень заботились о том, чтобы пылкий мальчик был здоров телом и духом, но он почти не видел от них ни любви, ни тепла; а если и выпадали на его долю крохи доброты, со стороны дяди они казались ему обидной навязчивостью, а со стороны тетки — слабостью, достойной одного презрения. Пусть бы уж люди были честны и не пытались поймать тебя на удочку фальшивой ласки. У взрослых есть два признанных оружия, пускай ими и действуют. Одно оружие — поучения, иначе говоря, болтовня; другое — грубая сила. Насилие, конечно, штука неприятная, но Джек считал, что естественнее пускать в ход именно его. В конце концов все равно накажут, так уж лучше, без лишних проволочек, прямо с этого и начинать! Да, викарий очень удивился бы, знай он, что его нотации возмущают племянника куда больше, чем наказания. Бесконечные побои внушали мальчику даже некоторое уважение к человеку, который умеет больно бить; и если бы дядя действовал только палкой, Джек не так бы на него озлобился; но поучения он глубоко презирал, а редкие попытки обойтись с ним поласковее вызывали в нем лютое отвращение.

Тетку он просто не считал за человека. Бедная женщина, конечно, никогда не была с ним жестока; слабая душа, полная добрых намерений, она, наверно, за всю свою жизнь никому не сказала резкого слова. Она хотела, чтобы все вокруг улыбались, чтобы довольные, веселые дети и слуги покорно взирали на того, кого она почитала своим и их господином и повелителем; и горевала она (если не считать того, что своих детей у нее не было) только об одном: что лица окружающих хотя по большей части и покорные, далеко не всегда казались довольными и веселыми. Джек, вечно непослушный, вечно бунтующий, оставался для нее неразрешимой загадкой. Она неизменно была к нему добра, — она просто не умела быть недоброй, — но смотрела на него, пожалуй, со страхом и с чувством, которое, будь она женщиной не столь слабой и мягкой, обратилось бы в неприязнь: уж очень он был беспокойный! Как она ни старалась, чтобы все шло гладко, этот буян неизменно разбивал в пух и прах ее маленькие хитрости.

Если бы у нее хоть раз мелькнула догадка, что мальчик одинок и несчастен, она бы искренне ужаснулась; ведь даже читая в приходской газете о том, что кто-то дурно обращается с ребенком, она не могла удержаться от слез; и, при всей своей робости, она зачастую осмеливалась вступаться за Джека и упрашивала свое земное божество избавить мальчика от наказания. Если бы он хоть когда-нибудь сам попросил прощения, она бы относилась к нему лучше; но это упрямое равнодушие

отталкивало ее. Однажды она, совершенно не умеющая лгать, даже чуточку погрешила против истины, чтобы отвести от племянника гнев викария. Разумеется, ее тотчас уличили, потому что Джек не стал отпираться и сразу сказал правду. Беда в том, что хоть он всегда сознавался в своих проступках, но делал это, как видно, вовсе не из отвращения ко лжи, а просто от дерзости; ведь когда ему это было на руку, он без зазрения совести сыпал самыми невероятными выдумками. Но он никогда не изворачивался; если уж он лгал, то обдуманно и смело, глядя старшим прямо в глаза, — и этого тетя Сара тоже не могла понять. А потому, при всем желании заменить Джеку мать, она только и могла кротко и длинно читать ему до смешного бесполезные нотации. Всю свою нежность она изливала на Молли, — девочка была еще слишком мала, чтобы проявить какие-либо дурные наклонности, если они у нее имелись, — а Джеку с его ожесточенным сердцем предоставила самому стоять за себя.

Джек не завидовал сестренке, которую все любили. На свой лад, сдержанно и застенчиво, он и сам ее любил. Но у них было слишком мало общего. Молли была не только мала и притом девочка, — эти два недостатка он бы ей, пожалуй, простил, — она была еще и «паинька». Она аккуратно затворяла за собой дверь, гости сажали ее к себе на колени, целовали, хвалили, пичкали сладостями и охотно гладили ее золотистые кудри. Порою Джек спрашивал себя, неужели ее не тошнит от этих нежностей и почему она не отхватит свои волосы ножницами тети Сары и не швырнет кому-нибудь в лицо. Если бы это его вот так стали гладить да мусолить, он бы выдрал себе все волосы напрочь.

Из всех людей, по его мнению, какие-то права на него имели только голворезы, у которых он вот уже почти два года был атаманом. Его нравственные устои были просты и грубы, как у дикаря; ему и в голову не приходило, что бить окна, воровать яблоки в садах, громить чужие огороды — низко и нечестно; и его ничуть не интересовало, что думают и чего хотят его подданные: он — повелитель, и воля его — закон; но бросить своих мальчишек в беде, допустить, чтоб кого-нибудь из них поколотили, вместо того чтобы как-нибудь изловчиться и принять удар на себя, — это он счел бы чудовищной подлостью. В своем крохотном королевстве он был неограниченный деспот; он не сомневался, что единственный долг подданного — повиновение, а единственный долг правителя — верность; и он был безупречно верен своим мальчишкам, но в глубине души их презирал.

От людей, будь то взрослые или его сверстники, он всегда с облегчением возвращался к своим крылатым и четвероногим друзьям, к

утесам, вересковой долине и морю. Щенята и кролики, деревенские собаки и кошки знали такого Джека, о существовании которого викарий и не подозревал. Среди людей даже малыши, которым он покровительствовал, не знали настоящего Джека: Билли Греггса он презрительно терпел, с Молли был добродушно-снисходителен; с животными же, особенно с маленькими и беспомощными зверьками, он бывал бесконечно добрым и нежным.

Но лучшее, что было в Джеке, знала одна только Меченая. Эта старая рыжая дворняга, доживавшая свой век при конюшне, поистине ничем не блистала, и, кроме Джека, у нее в целом свете не было друзей. Даже в лучшие свои времена она не отличалась красотой: самая жалкая помесь, хвост куцый, лапы кривые, уши рваные, и на одном — белое пятно. Теперь она состарилась, ослепла и в сторожа больше не годилась. Милосерднее всего было бы ее усыпить; она день ото дня слабела и, уже не в силах двигаться и содержать себя в чистоте, становилась сама себе в тягость и вызывала у всех отвращение. Но миссис Реймонд и помыслить не могла о том, чтобы уничтожить живое существо, а викарий был слишком справедлив, чтобы вышвырнуть вон верного слугу, который больше не может работать; и Меченая оставалась на дворе подле конюшни: ей отвели угол, ее сытно кормили и терпели, как терпят нищих стариков. И вот на эту дряхлую, жалкую, уродливую дворнягу, которую забыла смерть, изливал Джек никому не ведомые сокровища любви и нежности. Он никогда не забывал вымыть ее, расчесать косматую шерсть, заботливо размочить для нее сухари, и не прощал тем, кто смеялся над ее немощью. С виду черствый и грубый, он немо, неистово, страстно ненавидел всякую несправедливость. Никто никогда не поступал по справедливости с Меченой, потому что она состарилась и ослепла, а ведь это и само по себе горько и несправедливо. Никто никогда не был справедлив и к нему, потому что он родился грешным и безобразным; но ведь он в этом не виноват, как не виновата Меченая в том, что ослепла. У них была одна и та же горькая судьба — и только Меченая знала тайну Джека.

Ибо у Джека была тайна — одна-единственная и столь простая, так ясно написанная у него на лице, что ее прочел бы всякий, кто поглядел бы на него без предубеждения. Но в доме викария так не смотрел никто — и тайна оставалась нераскрытой. Она заключалась в том, что Джек был несчастлив. Он этого не сознавал, он удивился бы и возмутился, скажи ему кто-нибудь об этом, и, однако, это было так. Правда, у него были свои радости и развлечения, чаще всего недобрые, но никакие забавы не могли заглушить ноющую боль внутри, словно там была пустота, которую ничто

не могло заполнить. Радоваться наступлению ночи, потому что еще один день позади; скрывать всякую самую малую свою боль и обиду из страха, как бы кто-нибудь о них не догадался; знать, что он всем враг и все — враги ему, подчас очень сильные и опасные, — все это стало для него привычным; если он об этом и задумывался, то думал только, что мир почему-то устроен глупо, но горевать об этом не стоит, все равно тут ничего не поделаешь.

Вот этот неутоленный душевный голод и заставлял Джека искать привязанности и ласки где угодно, только не у людей. Унылая серая корнуэлльская пустошь, поросшая вереском, была ему куда более нежной матерью, чем тетя Сара со всей ее добротой. В самые тяжкие дни, когда озорство не помогало и даже в драке не отпускала тревога и ноющая боль в душе, он убегал из дому и часами бродил один по утесам. Потом отыскивал тихое тенистое ущелье или расселину в скале, зарывался во влажный папоротник и лежал так, и понемногу успокаивался.

И хоть он был слеп и брел ощупью во мраке, он научился понимать и любить целительную силу природы. А теперь, когда улетел дрозд, глаза его открылись и он прозрел.

Долго сидел он у окна и все смотрел; потом, уже в темноте, наконец, разделся и лег, сосредоточенный, притихший. По счастью, ни одна душа не заботилась о нем настолько, чтобы зайти и посмотреть на него спящего, как бывает с мальчиками, у которых есть мать; и гордости его не грозила опасность, что кто-нибудь увидит его плачущим во сне. Правда, утром он сам обнаружил, что ресницы его еще мокры от слез, и на минуту устыдился. Потом выглянул в окно и забыл о своем смущении, ибо увидел новое небо и новую землю.

И начались чудесные дни, долгие дни изумления и радости, то сияющие светом, песнями, красками, то окутанные таинственной дымкой. Разумеется, оставалось немало привычной доуки: по воскресеньям церковь, по будням — школа, и дома по-прежнему молитвы и чтение библии вслух, и тетя Сара, и дядя Джозайя. Но в конце концов это были неприятности временные и не столь важные; прежде Джек не замечал, что они отнимают лишь малую часть суток, а ведь у него оставалось еще так много чудесных часов. Миновало воскресенье, потом понедельник, вторник, среда, а первый восторг пробуждения все еще не рассеялся; с самой субботы он ни с кем не дрался и не ссорился, не озорничал и не донимал никого ни дома, ни в школе. Едва ли не впервые за всю свою жизнь он четыре дня кряду не заслужил ни единого замечания — такое поведение он считал постыдным, оно было против всех его правил и

привычек, а теперь он об этом и не подумал; он вел себя точно «паинька», каких он всегда презирал, — и даже не замечал этого, поглощенный радостью жизни, сиянием солнца и звезд, блеском песка и мерцанием морской пены. В понедельник вечером была гроза; Джек, никем не замеченный, выскользнул из дому, в непроглядной грохочущей тьме ушел на пустошь и лег под проливным дождем среди вереска. Потом настал вторник — тихий, прохладный, серебристо-серый; после грозного сверканья молний землю и море окутали мягкие тени. И уж конечно, никогда мир не был прекраснее и не было на свете мальчика более счастливого, более полного радости жизни.

Но всего чудесней оказалась среда. Весь день, от огненно-опаловой утренней зари и до облачного аметиста сумерек, сверкал и переливался драгоценными камнями: сапфиром моря и алмазными брызгами, звоном жаворонков в голубой вышине и солнечными лучами, пламенеющими на золотистом дроке; в этот день для Джека на земле был мир, и даже к людям он ощутил благоволение. В такой день дядю — и того невозможно было ненавидеть.

Он поднялся с рассветом, и восход солнца застал его уже на берегу. Был отлив, и Джек вскарабкался на выступившую из-под воды длинную, зубчатую каменную гряду, на которой разбилось столько судов, что отвесную кручу над нею прозвали Утесом мертвеца. Потом ему надоело скользить по спутанным водорослям и острым, режущим ноги ракушкам, он лег подле неглубокой заводи меж камней и загляделся в пронизанную солнцем воду. Тут было множество разноцветных анемонов — зеленые, розовые, оранжевые, они широко раскрывали свои венчики и тянули вверх сотни ярких щупалец. В одном уголке разросся заколдованный лес кораллов, и среди них упорно, с великим трудом пробиралась морская улитка.

Вдруг за кустиком водорослей что-то блеснуло всеми цветами радуги, и заводь подернулась шелковистой рябью. Джек не шелохнулся, только смотрел. Вскоре из водорослей выскользнула крохотная рыбка, дюйма в два длиной, и пустилась кружить по заводи, отсвечивая розовым и серебром. Джек быстро опустил руку в воду и ловко поймал рыбешку.

Он поднял ее и, держа на свету, разглядывал переливы красок на чешуе, а рыбка билась и трепетала у него в руке. Потом он вдруг понял, как она хороша, осторожно опустил руку в воду, разжал — и рыбка метнулась прочь. Никто не вправе лишать свободу существо, словно сделанное из радуги. Рука еще оставалась в воде, он рассеянно поглядел на нее. Нет, она не переливается радугой; а все-таки она красивая — даже красивей, чем та

рыбка. Все не вынимая руку из воды, он стал сжимать и разжимать пальцы, изучая игру мышц и сильное, гибкое запястье. Да, это красиво — и это его рука, часть его самого.

В этот день уроки опять кончались рано; Билли Греггс предложил пойти удить рыбу, раз уж не удалось в субботу; но Джек отказался; ему хотелось быть совсем одному, карабкаться на утесы и смотреть через глубокие расселины вниз, на волны в час отлива.

Сразу после обеда, набив карманы вишнями и прихватив сачок, он вышел из дому и в саду увидел Молли: она сидела одна, уткнувшись лицом в большой куст лаванды.

— Эй, Молл! — весело окликнул он на ходу. Ответа не было, и он заметил, что плечи сестры вздрагивают: она плакала. Джек повернулся и подошел.

— Что это с тобой? Опять дядя пилил? Молли подняла заплаканное лицо.

— Он велел мне сидеть дома... целый день! А мне так хотелось пойти выкупать Дэйзи! Доктор Дженкинс прописал ей морские купанья.

Дэйзи, безногая кукла, лежала тут же в траве; никакие морские купанья уже не могли ей помочь в ее плачевном состоянии, да и повредить тоже, но Молли, конечно, этого не понимала.

— Что за свинство! — возмутился Джек: ему и самому часто приходилось сидеть взаперти, и он искренне посочувствовал Молли. — Бедняга! А что ты такого натворила?

В ответ Молли опять разразилась слезами.

— Ничего я не натворила! Если бы я не слушалась, пускай бы наказывали, но я ничего не сделала! Просто Мэри-Энн стряпает, и дядя не велит мне выходить одной.

— Но ведь ты не всегда гуляешь с Мэри-Энн. А где твои подружки?

— Эмми нет дома, а Джейни Скотт не могла прийти. Чем же я виновата! Я ничего не сделала, а меня все равно наказали. Это нечестно!

Джек нахмурился: в словах Молли он услышал отзвук собственных обид. Либо обо всем надо договариваться по-хорошему — и тогда не будет нужды в наградах и наказаниях, либо уж пускай наказывают только за дело. У дяди и, как видно, у дядиного бога есть целая хитроумная система, по которой всякий должен нести заслуженную кару; а получается, что человеку и без того не везет, а его еще за это и наказывают. Джек поглядел на залитые солнцем утесы и вздохнул: он так надеялся славно погулять в одиночестве...

— Не плачь, старушка, — сказал он. — Пойдем спросим тетю Сару,

может, она отпустит тебя со мной.

По счастью, мистера Реймонда не оказалось дома, а тетя Сара хоть и удивилась необычной просьбе Джека, всегда такого нелюдимого и независимого, но спорить не стала, и брат с сестрой начали спускаться по крутой тропинке; первый порыв Джека немного остыл, и он только старался не слишком жалеть, что не удастся побродить одному, а Молли семенила рядом с ним, сияя от радости.

Очень скоро он и думать забыл о своем разочаровании. Так славно сверкало море в солнечных лучах, и еще приятней было видеть, как ему радуется Молли. Оказалось, эта малышка, на которую Джек привык смотреть свысока, в девять лет тонко чувствует красоту, между тем как в нем, таком большом, только сейчас впервые пробудилось это чувство. Когда зеленые волны, разбиваясь о мокрые камни, осыпали все вокруг дождем искрящихся на солнце брызг, Молли чуть не прыгала от восторга. Джек привел ее в свой любимый уголок: здесь, среди скал, стоя на коленях на узкой ровной площадке, можно было сквозь расселину в граните заглянуть в пещеру далеко внизу, где грохотали и пенились волны. Так он стоял, бережно обняв сестренку за плечи, чтобы она не упала, потом, почувствовав, что она вся дрожит, отодвинул ее подальше от края.

— Не бойся! Я не дам тебе свалиться.

И тут он увидел, что Молли дрожит не от страха. Она подняла на него раскрытые во всю ширь сияющие глаза.

— Джек, — сказала она, — может быть, там внизу живет бог?

Потом настал час отлива, и Джек повел ее на каменную гряду и показал ей разные чудеса. Они кормили анемоны кусочками мертвых улиток, которые привязывали к волосам (девочка выдергивала их у себя, в увлечении не замечая боли) и потом вытаскивали обратно недоеденную приманку, чтоб поглядеть, как анемоны «обижаются» и съезживаются в бесформенный комок. Они раздели Дэйзи, торжественно ее искупали, вытерли перепачканными носовыми платками и залепили клейкими водорослями ее разбитый нос. Видела бы шайка, как ее атаман играет с сестрой в куклы! Они поймали краба, посмеялись, передразнивая его безобразную мину, и опять выпустили на волю. И наконец уселись рядышком, опустив босые ноги в наполненную водой неглубокую выемку, и принялись за вишни.

Молли бросила вишневую косточку в воду, и через минуту Джек услышал, как она, наклонясь над этой прозрачной лужей, рассказывает сама себе сказку; прежней застенчивости, всегда нападавшей на нее при брате, как не бывало.

— И вот выросло в море дерево, — говорила Молли, — это было морское вишневое дерево, и на нем росло много-много морских вишен... Вот раз пришел краб, увидел морские вишни и думает: отнесу-ка я их домой моим деткам...

— Молли, — вдруг сказал Джек, — ты когда-нибудь рассказываешь сказки тете Саре? Не просто враки — это всякий рассказывает, — а вот про крабов, про вишни и всякое такое?

Девочка изумленно оглянулась на него.

— Конечно нет

Джек порядком смутился.

— Ну да, ясно, — сказал он, словно извиняясь. — Понимаешь, я просто не знал. Я думал, может, раз ты послушная и она тебя любит...

— Так легче всего, — серьезно ответила девочка. — Когда слушаешься, тебя оставляют в покое.

Этот ответ был для Джека откровением. Стало быть, и Молли тоже живет своей тайной жизнью, не позволяя взрослым лезть ей в душу грязными лапами! Она послушная девочка, а он скверный мальчишка, но оба они стремятся к одной и той же цели, разница только в средствах.

«Маленькая, а храбрая!» — подумал Джек и впервые посмотрел на сестру с уважением.

Они доели вишни. Молли улеглась на горячем от солнца камне и уснула, подложив руку под растрепанную кудрявую голову. Джек прикрыл ей лицо шляпой, чтобы солнце не било в глаза, и сидел не шевелясь, глядя на голубые мерцающие воды. Немного погодя он оглянулся на сестру. Молли спала сладким сном. Одну босую ногу она поджала, другую вытянула, чистая гладкая кожа, еще влажная, блестела на солнце. Джек долго сидел не шевелясь и серьезно смотрел на сестренку; потом наклонился и осторожно погладил маленькую босую ногу. Впервые за всю его жизнь ему захотелось приласкать не зверька и не птицу, а человека.

ГЛАВА IV

В четверг на уроках мистер Хьюит был очень озабочен и молчалив. Он не замечал ошибок и сам неправильно написал на доске задачу, под глазами у него темнели круги, словно он не выспался или страдал зубной болью.

На уроке истории в класс поспешно вошел помощник vikария, явно чем-то расстроенный, и сказал:

— Можно вас на минуту, Хьюит? Мне надо с вами поговорить.

Они вышли за дверь; несколько минут в классе было сравнительно тихо — кто беспокойно вертелся, кто зевал, развалясь на парте.

— Смотрите-ка! — сказал Чарли Томпсон, от нечего делать глядевший в окно. — А ведь это девчонка Роско.

У Джима Гривза вырвалось короткое испуганное восклицание, он вскочил было и тотчас опустился на свое место. Джек рассеянно покосился на окно. По дороге от школы шла Мэгги Роско; она цеплялась за руку помощника vikария и горько плакала.

«Что это с ней стряслось? — подумал Джек. — Да и со всеми тоже? Сегодня все в школе какие-то пришибленные».

Вернулся мистер Хьюит и стал продолжать урок; но книга в его руке заметно дрожала.

Потом он овладел собой и начал вызывать, спрашивал сердито, придираясь к каждому пустяку. Он был учитель скучный, но не строгий, а вот сегодня все его сердило. После утренних уроков он вызвал Джека и резко отчитал его перед всем классом. Оказалось, что в школе разбито окно.

— Вчера тебя видели на дороге, ты подбирал камни. Это уже третье разбитое стекло за семестр!

Джек пожал плечами. Накануне он вовсе не бил стекла, а просто собирал разноцветные камешки; но раз мистер Хьюит так уверен в своей правоте, что толку его переубеждать.

— Окно разбила кошка, сэр, — вмешался один из мальчиков. — Я сам видел. За ней гналась собака, она вспрыгнула на подоконник и свалила горшок с цветами.

— Вот как, — рассеянно обронил учитель.

Джек вышел из школы угрюмый, таким он не был с самой субботы. Все они подлые! Озлятся на человека — и уж все подряд на него валят, даже не спросят, кто виноват. А ты изволь подчиняться такому остолопу...

Ничего, когда-нибудь он станет взрослым — и никому больше не подчинится. Пускай дядя и все остальные прохвосты вытворяют, что хотят, — недолго им еще над ним издеваться. Ему все равно, ведь скоро он будет свободен. Прежде он никогда об этом не думал, а сейчас эта мысль вдруг вспыхнула лучезарным светом надежды. Джек шел по дорожке, и глаза его сияли: еще несколько лет — и он будет мужчиной.

К середине дня мистер Хьюит овладел собой, но стал еще мрачнее и на все вопросы отвечал отрывисто и сердито. Иные из старших учеников, казалось, были расстроены не меньше учителя; и после уроков все разошлись молча, без обычных проказ и смеха.

А Джек перекинул школьную сумку через плечо и во весь дух побежал домой. Если поскорее приготовить уроки, он успеет выбраться из дому до захода солнца.

Одним прыжком он перемахнул через калитку — этому искусству завидовали все мальчишки в Порткэррике, — и вот он уже уверенно и непринужденно стоит на присыпанной гравием дорожке. Потом оборачивается и взглядом измеряет длину прыжка. Совсем неплохо для четырнадцатилетнего! Это доставило Джеку истинное удовольствие. Хорошо быть таким сильным, ловким, так ладно скроенным! Он поглядел на свои крепкие смуглые руки — любопытно, какой толщины ветку фуксии он может отломить от живой изгороди одним движением мускулистой кисти? Он уже протянул руку и вдруг остановился: никогда прежде он не замечал, как хороши маленькие алые бутоны, как красиво свисают они с ветвей, а молодые листья, распростершись, точно изогнутые крылья чайки, бережно их прикрывают. Он осторожно приподнял ветку, отчего чудесные цветы на ней тихонько задрожали, и провел ею по щеке.

Вдруг до него донесся отчаянный визг, и Джек выпустил ветку. Визг повторился — он раздавался где-то у конюшни, и Джек узнал голос Меченой. Должно быть, на нее напал какой-нибудь чужой пес, а ведь она слепая. Сломая голову Джек помчался на задний двор. Старая собака визжала все пронзительней, все жалобней; подбежав ближе, он услышал еще один звук: в воздухе размеренно и безжалостно свистел хлыст. На мгновенье Джек остановился у ворот и перевел дух; потом вошел во двор.

Меченая, на цепи и в наморднике, прижималась к каменным плитам; она уже не в силах была шевельнуться, только стонала и вздрагивала, когда на нее опять и опять с тошнотворным глухим стуком опускался хлыст. Казалось, викарий в каждый удар вкладывал всю свою силу.

С криком ярости Джек рванулся вперед. Кровь бросилась ему в голову при виде этого хладнокровного истязания: намордник, предусмотрительно

укороченная цепь, а ведь слепая собака и без того беспомощна! Еще мгновение — и он вырвал бы у дяди хлыст и хлестнул бы его по лицу. Но тут он увидел выражение этого лица и, отпрянув, замер.

Викарий словно помолодел на двадцать лет. Всегда тусклые глаза его блестели, ноздри раздувались, углы рта вздрагивали от наслаждения. Он был точно опьянен радостью жизни.

Снова замахнувшись, он вдруг поднял глаза — и увидел белое как мел лицо Джека. Он вздрогнул, помедлил мгновение и в последний раз со всего размаха ударил собаку. Меченая даже не застонала, теперь она лежала совсем тихо.

Тяжело переведя дыхание, викарий наклонился над нею. Рука, сжимавшая хлыст, слегка дрожала, потом успокоилась. Когда он выпрямился, лицо у него опять было привычно серое и безжизненное.

— Вот так! — сказал он, свертывая хлыст.— Надо думать, этот урок она запомнит.

Джек не шелохнулся, не сказал ни слова. Меченая зашевелилась и слабо заскулила, язык ее свисал на проволочную сетку намордника. Викарий опустил на колени и снял намордник, потом отстегнул цепь, принес немного воды и держал плоску, пока собака пила.

— Отдышитесь, — сказал он, все еще не глядя на Джека. — Весьма неприятно прибегать к таким мерам; но в конце концов милосерднее один раз высечь собаку как следует, тогда больше не придется ее наказывать. Впредь будет послушнее!

Он вдруг спохватился, что оправдывается перед Джеком, и круто обернулся.

— Почему ты вышел из дому, когда у тебя не приготовлены уроки? Сколько раз тебе повторять: занимайся прилежно, не ленись. Смотри, когда я вернусь, чтобы все было сделано.

И он ушел, а Джек все стоял, бледный, застывший, и собака дрожала у его ног.

Наконец Меченая подняла голову, робко понюхала воздух и узнала своего единственного друга. Она подползла ближе в поисках утешения, слабо заскулила и лизнула его башмак. Джек опустился рядом с нею на каменные плиты, уткнулся лбом ей в затылок и зарыдал. Так он не плакал с тех пор, как был совсем малышом.

Когда дядя возвратился к чаю, Джек уже с грехом пополам приготовил уроки. Викарий всегда проверял его и обычно не без основания оставался недоволен; но на этот раз он не сделал ни единого замечания, хотя уроки были приготовлены даже хуже, чем всегда. Вечер тянулся бесконечно;

Джеку казалось, что часы никогда не пробьют девять. Когда наконец пришло время спать, он поднялся к себе и, не зажигая огня, присел на край кровати.

Весь вечер он всматривался в черты дяди, пытаясь вновь разглядеть то лицо, которое увидел сегодня у конюшни. Теперь, неподвижно сидя на кровати и закрыв глаза рукой, он ясно видел это лицо. Оно отчетливо проступало в темноте: плотно сжатые, вздрагивающие губы, трепетные ноздри, горящие глаза...

Значит, есть на свете нечто такое, что доставляет дяде истинное наслаждение? Ибо в этом лице виден был не гнев, но удовольствие. Когда он сердится, у него совсем другое лицо. Вот, к примеру, он рассердится, когда узнает, что нож епископа украден...

Джека вдруг бросило в холодный пот. Он поднял руки, словно защищаясь...

Наконец он встал, зажег свечу и разделся. Потом лег, забыв про свечу, и она догорела и погасла, оставив в воздухе едкий дымок, а Джек все лежал тихо, точно спящий, и смотрел в темноту широко раскрытыми глазами.

Он лежал, и его все беспощадней жгла ошеломляющая, чудовищная правда. Когда откроется, что он украл нож, его тоже отстегают хлыстом. С ним обойдутся, как с Меченой, его болью тоже станет упиваться этот жадный рот; а ведь с того дня, как он выпустил на волю дрозда, его никто и пальцем не тронул. Все, что бывало с ним раньше, не в счет — на себя самого, каким он был неделю назад, Джек оглядывался равнодушно, как на незнакомого: по-настоящему он живет всего пять дней.

Спасенья нет, и никто его не поймет. Никто, ни одна душа не поймет, что теперь он совсем другой, чем был еще неделю назад; что мальчишки, которого так часто били и который над побоями только смеялся, больше нет, а того нового Джека, что сменил его, никто еще ни разу не ударил и не осрамил. Этому чистому, незапятнанному Джеку нет спасенья: он начал жить только в минувшую субботу, но дядя осквернит его своим прикосновением — и он умрет.

Наутро, проснувшись, Джек сел в постели, охваченный недоумением: он никак не мог понять, что на него вчера нашло. Неужели же не кто-нибудь, а он, Джек Реймонд, накануне до глубокой ночи лежал без сна и не мог успокоиться только потому, что его выдерут, как будто в этом есть что-то новое и страшное! Он пожал плечами и вскочил.

«Я, верно, спятил», — подумал он и отмахнулся от этих мыслей, которые к лицу разве только старым бабам, девчонкам и вообще неженкам.

Он поспешно оделся и вышел во двор взглянуть на Меченую.

Накануне он заботливо растер собаку мазью, устроил подстилку помягче, и теперь, когда он ее погладил, она уже смогла слабо помахать хвостом.

— Ничего, старушка! — сказал он ей в утешение. — Он скотина, но мне тоже приходится от него терпеть — и плевать я на это хотел!

Утешив Меченую, как умел, Джек пошел в сад проведать щенят. Утро было чудесное — прохладное, росистое, и соленый ветер с моря, казалось, развеял последние остатки вчерашнего малодушия.

Сарай для садового инструмента, где жили щенята, скрывали густо разросшиеся кусты тамариска и фуксии. Джек наклонился и хотел поднять толстого, веселого щенка, но тут за кустами захрустел гравий под тяжестью шагов, и совсем рядом раздался голос дяди:

— Вы сегодня не видели моего племянника, Милнер?

Где-то загремел тяжелый молот, под его ударами задрожала земля и по воздуху пошел гул. Но так продолжалось минуту, не дольше: удалявшиеся шаги почтальона еще не замерли на дорожке, когда Джек понял, что это стучит в висках.

Опустошенный, он прислонился к живой изгороди. Так, значит, все страшное, что преследовало его вчера, — правда! Смехотворно, нелепо, невозможно, — и все-таки правда. Он изменился, но весь мир остался прежним. То, что для других просто и привычно, для него стало хуже смерти.

Но день прошел, и ничего не случилось; как видно, викарий все еще не хватился ножа. Три долгих дня Джек ежечасно, ежеминутно ждал, что грянет гром. От каждого звука в доме, от каждого шороха сердце его словно сжимала чья-то холодная рука; от одного взгляда дяди пот проступал у него на лбу. Однажды ночью он вскочил, оделся и уже хотел бежать к викарию. «Проснитесь! — хотел он сказать. — Поглядите в столе. Я украл ваш нож». Тогда это нестерпимое ожидание кончится, а там будь что будет. Но когда он отворил дверь, тьма и тишина, наполнявшая дом, оледенили его непонятным страхом, и он отступил. На четвертый день, в понедельник, он спустился к завтраку такой бледный, с опухшими глазами, что миссис Реймонд ужаснулась.

— Мальчик болен, Джозайя, он похож на привидение.

Джек устало возразил, что он совсем здоров. Он просто не сумел бы объяснить, что с ним, даже если бы и попытался.

— Можешь не ходить сегодня в школу, — милостиво сказал викарий; он всегда считал своим долгом быть милостивым к больным, и за это Джек еще сильнее его ненавидел. — Если чувствуешь себя не слишком плохо, перепиши немного латинских стихов, а если заболит голова, то не надо.

Вероятно, вчера ты чересчур долго был на солнце.

Джек молча ушел к себе. Не сразу ему удалось избавиться от тетки: она суетилась и надоедала ему своими попечениями, пока наконец ее не отвлек звонок у входной двери и голоса в прихожей; тут она отправилась вниз посмотреть, кто это пришел в такой неурочный час.

— Хозяина спрашивают по спешному делу, — донесся до Джека ответ прислуги.

Он затворил дверь и подсел к столу, радуясь, что его оставили одного.

На столе лежала латинская хрестоматия, Джек рассеянно взял ее в руки; лучше уж готовить уроки, хоть они и скучны и никому не нужны, чем без толку терзаться тайными страхами. Он стал просматривать оглавление: отрывки из Цицерона, из Горация, из Тацита, один другого скучнее. Наконец он раскрыл книгу наугад и попал на трагедию Лукреции^[4].

Джек читал ее уже не раз — бездумно, как всякий школьник читает классиков, словно все это не человеческие судьбы, а только примеры из грамматики. Что он Лукреции, и что она ему? Да по правде говоря, если бы эта трагедия разыгралась в его время и в его стране, он и тогда бы мало что понял.

Деревенский мальчик, выросший среди собак, кошек и лошадей, он волей-неволей познакомился с иными простейшими физиологическими явлениями, но ему и в голову не приходило связывать их с человеческими радостями и страданиями. Безукоризненно чистое и здоровое тело, здоровая, размеренная жизнь на свежем воздухе, не оставлявшая ему ни минуты свободной, ибо надо же было и купаться, и кататься на лодке, играть в крикет и футбол, отыскивать птичьи гнезда и опустошать фруктовые сады, да еще нести нешуточные обязанности атамана шайки, — все это сохранило в Джеке много детского в том возрасте, когда почти все мальчики уже перестают быть детьми. Он знал только одну страсть — ненависть, другие же страсти человеческие оставались ему неведомы — в четырнадцать лет он относился к ним с безмятежным равнодушием шестилетнего ребенка.

Он сосредоточенно разбирался в какой-то запутанной фразе, как вдруг дверь отворилась, и вошла миссис Реймонд. Она остановилась, глядя на него, губы ее приоткрылись, но с них не слетело ни звука, и Джек подумал: вот такой бледной и испуганной была она четыре года назад, когда пришла телеграмма, что его отец утонул. Он вскочил.

— Тетя Сара!..

Наконец она заговорила — торопливо, со страхом:

— Поди вниз, в кабинет. Дядя зовет.

И Джек пошел; в ушах у него шумело, что-то перехватило горло. Он отворил дверь кабинета. У окна, спиной к нему, стояли помощник викария и мистер Хьюит и озабоченно разговаривали вполголоса. Викарий сидел за письменным столом, низко опустив седую голову и закрыв лицо руками.

Джек переводил взгляд с одного на другого. Воображаемые ужасы последних дней разом вылетели у него из головы; видно, случилось что-то поистине грозное; как всякий мальчик, выросший у моря, он тотчас подумал о бурях и кораблекрушениях. Но нет, не может быть: все последнее время погода стояла прекрасная; быть может, кто-нибудь умер? На минуту забыв о старой распре, он подошел к викарию.

— Дядя, что случилось?

Мистер Реймонд поднял голову; таким Джек его никогда не видел. Он встал, сердито смахнул слезы и медленно обернулся к учителю и к своему помощнику.

— Джентльмены, — сказал он, — я должен просить у вас прощенья за мою слабость: все эти годы я любил мою паству, и если не сумел исполнить мой долг, бог свидетель, я тяжко за это наказан.

— Никто не может винить вас, сэр, — возразил помощник. — Как могли вы или кто-либо другой что-либо подозревать?

— Если уж кого-то обвинять, так меня, — вставил мистер Хьюит. — Ведь я с мальчиками почти неотлучно.

— Все мы виновны, — сказал викарий сурово, — и я виновнее всех. Я не уберег стадо Христово, и иные овцы сбились с дороги и упали в яму.

Он взял со стола библию.

— По крайней мере теперь я исполню свой долг, джентльмены, и отделю плевелы от пшеницы, как повелевает слово божие. Можете мне поверить, я не пощажу родную плоть и кровь, я не отступлюсь, пока не узнаю всю правду.

Выслушав его, они молча вышли из кабинета; викарий закрыл за ними дверь и обернулся к племяннику; лицо его было страшно.

— Джек, — сказал он, — я все знаю.

Джек ошеломленно смотрел на дядю, не понимая, о чем он говорит.

— Мистер Хьюит скрывал от меня свои подозрения, пока у него не было доказательств, — все так же сухо, не повышая голоса, продолжал викарий. — Сегодня утром он произвел в школе расследование, и некоторые твои сообщники уже сознались. Как только мы выясним все подробности, виновных исключат. Что до человека, с которым ты был связан, его уже арестовали, он сидит в Трурской тюрьме. Как давно ты распространяешь среди своих соучеников эту отраву?

Джек провел рукой по лбу.

— Я... я не понимаю, — сказал он наконец.

— Не понимаешь... — начал викарий, но недоговорил и выдвинул ящик стола. — Может быть, это избавит тебя от лишней лжи, которой ты только отягчаешь свою вину: смотри, вот нож, который ты украл и продал, и вот что ты купил на эти деньги.

Он кинул на стол нож епископа и большой пакет.

— Как видишь, запирается нет смысла, — сказал он с каким-то угрюмым презрением.

До этой минуты Джек попросту ничего не понимал, но теперь наконец-то перед ним было нечто определенное и осязаемое. Он взял пакет: что бы там ни было внутри, можно будет хотя бы понять, в чем его обвиняют.

Сначала он вытащил из пакета какую-то книжонку, прескверно отпечатанную на дрянной бумаге, и прочитал название. Слова были английские, но Джек понял не больше, чем если бы книга называлась по-китайски. Он растерянно покачал головой — все это было как в дурном сне — и вытащил из пакета то, что там еще оставалось — пачку раскрашенных фотографий. Он стал просматривать их одну за другой, сперва просто с недоумением; потом смысл того, что тут было изображено, начал проясняться, и тогда у мальчика захватило дух от ужаса; полный страха и омерзения, он отшвырнул карточки.

— Что это? Я не понимаю, дядя. Зачем это, для чего?

Викарий больше не мог сдерживать бешенство. Он круто обернулся и ударил мальчика по лицу с такой силой, что Джек отлетел к стене.

— Здесь не театр! — закричал викарий. — Довольно с меня и разврата, я не потерплю лицемерия и лжи!

Рука его опустилась, стиснутый кулак медленно разжался; он сел и горько усмехнулся, глядя в сторону.

— Поздравляю тебя, мой мальчик, ты недурной актер — весь в мать.

Джек стоял неподвижно, все еще раскинув руки — в первую минуту он оперся ими о стену, чтобы не упасть. Лицо его было бело, как бумага.

— Не понимаю, — беспомощно повторял он, — не понимаю...

— Сейчас поймешь, — спокойно сказал викарий. — Поди сюда и сядь.

Джек молча повиновался; все кружилось и плыло у него перед глазами — будь что будет, но хорошо хоть на минуту присесть. Он и не думал возмущаться ни ударом, ни тем, что потом сказал дядя, — все это было частью того же дурного сна. Викарий облокотился на стол, прикрыл глаза рукой. Потом заговорил; в голосе его слышалась глухая безнадежность, и

слова отдавались в ушах мальчика, точно смертный приговор.

— Скажу тебе сразу, какие твои секреты вышли наружу. Мы знаем об игре в карты, о распространении этой мерзости, о том, что творилось в пещере у Треван-нахед и как совратили дочь Мэтью Роско. Она созналась, что виновник — один из учеников мистера Хьюита, но не хочет его назвать. Думаю, что эту последнюю гнусность совершил не ты; всего час тому назад я полагал бы, что в твои годы это немыслимо; но, видно, мне предстоит еще многое узнать.

Он умолк. Джек смотрел в одну точку, губы его приоткрылись, расширенные глаза, казалось, ничего не видели. Он даже удивляться был уже не в силах, его словно швырнули в мир странных призраков, где все перепуталось, — лживый и страшный мир, в котором и сам он, и дядя, и все остальные стали точно изменчивые тени, что пляшут по стенам комнаты, освещенной огнем камина, без всякого смысла и без цели.

— Девушку погубил, вероятно, кто-нибудь из учеников постарше, — продолжал викарий. — Но души младших, без сомнения, возвращаешь прежде всего ты. Томпсон сознался, Гривз и Полвил тоже, их свидетельства прямо указывают на тебя, не говоря уже о такой улике, как нож.

— Нож... — эхом отозвался Джек, ухватившись за первое слово, которое среди этого чудовищного хаоса теней вызвало какой-то определенный образ.

— Его нашли у того человека, который продавал тебе книжки и... и все остальное. Человек этот в полиции сознался, что получил нож в счет долга за свой товар от школьника из Порткэррика, который покупал у него все это уже не первый раз. Из всех школьников ты один знал, где я хранил нож.

Прошла минута; викарий поднялся и пошел к двери, но, уже взявшись за ручку, обернулся.

— Джек, — сказал он, — когда твой отец умер, я ради его памяти взял к себе в дом тебя и твою сестру; но я сделал это с тяжелым сердцем, ибо в ваших жилах течет кровь блудницы. Я кормил вас и одевал и обращался с вами, как с родными детьми, и вот моя награда. Ты навлек стыд и несчастье на мой дом и впустил в него силы преисподней; ты опозорил меня перед ближними и унизил перед паствой. Я благодарю бога, что отец твой не дожил до этого часа.

Он повернулся и вышел.

Джек медленно поднял голову и поглядел вокруг. Среди хаоса, царившего в его мыслях, начало что-то проясняться. Одно несомненно: его сделали козлом отпущения; может быть, он расплачивается за всю шайку, и уж, во всяком случае, — за Билли Греггса, за Томпсона, Гривза и Полвила.

«Ну конечно, — устало думал он, — дяде что про меня ни скажи, он всему поверит, это они понимали». Что может быть проще: он был вожаком этих мальчишек во всех проделках, снова и снова он брал вину на себя, выгораживая их, как и подобало настоящему атаману; на его долю всегда доставалось меньше всего добычи и самое тяжкое наказание; а тем временем они обдeldывали свои гнусные делишки и за глаза смеялись над ним, простофилей. И вот теперь, спасая свою шкуру, предали и продали своего атамана его заклятому врагу.

Джек собрал рассыпанные по столу фотографии и стал просматривать их, устало пытаясь понять, что за толк и удовольствие находят другие в такой бессмысленной и безобразной мерзости. И вдруг ему вспомнилось то, о чем он читал в хрестоматии, и он понял, почему Лукреция покончила с собой. Он отложил карточки и задумался.

Теперь он понял все, весь непостижимый ужас последних дней — все это так ясно, так отвратительно ясно и просто. Идешь своей дорогой, живешь своей всегдашней жизнью, а потом твой же дядя, или Тарквиний, или еще кто-нибудь, кто сильнее и крепче, — не все ли равно, кто и как? — на тебя набросится, чудовищно осквернит твоё тело и пойдет дальше как ни в чем не бывало; и ты, прежде чистый, никогда уже чистым не будешь. И тогда, если ты в силах это вынести, ты останешься жить, а если не в силах — кончишь, как Лукреция.

Вошла миссис Реймонд, по щекам ее текли слезы; она обняла его, и Джек посмотрел на нее с глухим недоумением: о ком она так убивается?

— Дорогой мой, — всхлипывала она, — ну почему ты не хочешь сознаться?

Джек высвободился из ее объятий и встал. Посмотрел на карточки, раскиданные по столу, потом на плачущую женщину.

— Тетя Сара, вы верите, что это все я?

— Ох, Джек! — воскликнула тетка. — Был бы ты хороший мальчик, я бы тебе поверила, хотя бы все было против тебя. Но ведь сам знаешь...

Не договорив, она прижала к глазам платок.

— Знаю, — медленно сказал Джек. — Я всегда был скверный, правда? Наверно, я таким родился. Тетя Сара, если я сейчас умру, как, по-вашему, я пойду прямо в ад?

Тетка подошла ближе и ласково взяла его за руку.

— Послушай, милый, я не такая мудрая и ученая, как твой дядя, но я желаю тебе добра. Это чистая правда. И мне кажется... может быть, мы тоже виноваты, что ты попал в сети дьявола. Я хочу сказать... возможно, иногда мы... были слишком строги... и ты побоялся сознаться в первом

проступке, а потом пошло все хуже и хуже... и вот, ты видишь... ты не можешь не видеть... эта дорога ведет в ад. Ох, милый, я понимаю, тебе очень трудно сознаться... и дядя ужасно сердится... и он прав, ведь это смертный грех. Но со временем он тебя простит, я знаю. И я буду всеми силами заступаться за тебя, Джек, я все сделаю... но только сознайся.

Джек хмуро дослушал до конца эту жалобную, сбивчивую речь; потом отнял руку, выпрямился и застыл. Он был очень высок для своих лет, почти одного роста с теткой, и смотрел ей прямо в глаза.

— Лучше оставьте меня, тетя Сара, и не вмешивайтесь. Да, конечно, это смертный грех. Правда, что моя мать была блудница?

Миссис Реймонд отшатнулась.

— Джек! — воскликнула она в ужасе.

— Так сказал дядя. Это слово из библии. И если у меня была такая мать, я ведь не виноват, правда? И что толку плакать? Это мне не поможет... лучше уйдите!

— Уйди! — эхом отозвался позади них сухой голос. — Христианке не следует касаться такой грязи.

Викарий собрал фотографии и сунул их в ящик стола.

— Уйди, — сурово повторил он. — Тебе здесь не место. Джек может рассказать тебе много такого, чего моей жене слышать не пристало.

— Джозайя! — миссис Реймонд схватила мужа за руку. — Джозайя, ради бога... не забывай, он еще ребенок!

— Ребенок? — в новом порыве ярости крикнул викарий. — Этот ребенок может поучить меня, старика, такому, о чем я и не... Уходи отсюда! Уходи! Наставлять таких детей на путь истинный — не женское дело.

И она, рыдая, вышла из кабинета. Джек посмотрел в лицо викарию — и понял. Серьезный, вполне овладев собой, он шагнул вперед.

— Дядя, я хочу вам сказать. Все это ошибка. Я ничего не знал об этих карточках, я их вижу первый раз в жизни. Я никогда про них не слышал.

Викарий взял со стола нож.

— А это?

— Да, верно, нож я взял. И обменялся. Но не на эти карточки и не с тем человеком, про которого вы говорили...

— На что ты обменял нож?

— Я обменялся с одним мальчиком... на...

— С каким мальчиком? И на что?

Джек вдруг умолк. Казалось, сердце его ударило особенно громко — и замерло. Он снова увидел распахнутую дверцу клетки и счастливую птицу с распростертыми крыльями, устремившуюся в золотую даль заката,

словно та голубка Ноя, которая не вернулась в ковчег^[5].

— На что ты обменял нож?

Еще секунду Джек медлил в надежде придумать какое-то правдоподобное объяснение; потом покорился. Почему-то никакая ложь не приходила на ум, да ложь и не помогла бы ему; а правда бы только повредила. Даже заставь он себя высказать вслух то, что было для него так сокровенно и свято, ни одна душа в целом свете ему бы не поверила.

— Что же мне делать! — воскликнул он. — Я не могу вам сказать, не могу... а если бы и сказал, вы все равно не поймете.

— Я понял достаточно, — отозвался викарий. — Упаси меня бог понять больше!

Он сел к столу, жестом указал племяннику стул напротив, вынул из кармана часы и положил на стол между ними.

— Я мало надеялся воздействовать на тебя иными средствами, кроме силы, но и эти крохи надежды я потерял. Теперь я должен думать только о том, как очистить школу от скверны и оберечь невинность тех, кто еще не заражен, а главное — твою родную сестру.

Викарий запнулся, но тотчас продолжал решительно:

— Я должен знать всю правду — и я добьюсь ее от тебя во что бы то ни стало. Ты понял? Даю тебе десять минут на размышление — и либо ты сознаешься сам, либо мне придется тебя заставить.

Он откинулся на спинку кресла. В комнате стало очень тихо, только тикали часы.

Джек понимал: надеяться не на что. Он ни в чем не виноват, но то, что с ним произошло, дядя счел бы не только неправдоподобным, а и немислимым. Викарий понимал и ценил добродетель; сам он вел себя в высшей степени добродетельно, ибо глубокая вера поддерживала его в долгой, упорной борьбе с греховными порывами, что одолевали его в годы тягостной и беспросветной молодости. Подобно иным святым средневековья, он при помощи долгих молитв и покаяния научился противиться искушениям, каких не знает человек, здоровый душою и телом. Быть может, если бы он не сумел устоять, это было бы лучше для беззащитных созданий, оказавшихся в его власти. Больное воображение, которому не дано иного выхода, не имеет иной пищи, кроме самого себя; и на гниющих останках других страстей, точно ядовитый гриб, разрослась жестокость. Много лет назад была в его жизни такая страница, что мистер Реймонд сгорел бы со стыда, если б хоть одна душа могла ее прочесть; и он полагал, что каждый человек может побороть нечистые желания плоти — стоит только захотеть; но он не способен был себе представить, что кто-то

может обладать воображением от природы чистым и целомудренным.

Мысли его вернулись к далеким временам его юности, когда он, шестнадцатилетний, и сам оказался на краю пропасти. Бесспорно, даже в дни самого большого своего падения он был не повинен в столь чудовищных грехах, какие открылись в это утро; и, однако, его едва не исключили из школы, потому что он развращал души младших мальчиков. Непоправимого зла он никому не причинил; и все же при одном этом воспоминании даже сейчас, тридцать с лишним лет спустя, кровь бросилась ему в лицо. Ему вспомнилось, с каким угрюмым упрямством запирался он, когда его обличали; как твердил, наперекор очевидности, что и знать ничего не знает; какой ужас овладел им, когда ему сказали, что в школу вызван его отец. И как отец приехал — старый пуританин с каменным лицом, суровый и молчаливый, и жестокими побоями вырвал у него признание.

«Это меня излечило раз и навсегда, — подумал викарий. — И как ни порочен Джек, это излечит даже его».

А Джек ни о чем не думал, по крайней мере у него не было ни одной ясной мысли; израненное воображение беспомощно цеплялось то за один привычный пустяк, то за другой. Буто́н алой розы колотился о ставень, и он подумал: «Ветер дует с юга». Потом вспомнился январский день, когда налетела буря, и ливень хлестал по кустам фуксий, и Молли в сарае оплакивала мертвого котенка.

Стрелка на часах викария миновала девятую черточку. Джеку вспомнилось, как он однажды залез на Утес мертвеца и увидел подраненного каким-то горе-стрелком кролика: зверек упал в таком месте, до которого нельзя было добраться, и лежал там, истекая кровью. Снова перед глазами Джека подергивались лапки кролика, белел куцый хвостик, и медленная струйка крови стекала по серому камню. Вот и сейчас под тиканье часов что-то умирает, истекая кровью. Когда минутная стрелка дойдет до десятой черточки, оно умрет. И тогда уже ничто на свете не будет иметь значения.

Десять минут прошли. Мистер Реймонд поднялся и взял племянника за плечо.

— Идем, — сказал он.

Молча они поднялись в комнату Джека, и ключ повернулся в замке.

ГЛАВА V



В пятницу вечером после семейной молитвы мистер Реймонд, как обычно, поднялся в запертую на ключ каморку под крышей. Солнце уже зашло, но еще не совсем стемнело.

Джек, полураздетый, съежился на полу в дальнем углу каморки. Иной раз он лежал так, без движения, по нескольку часов кряду. На столе стояли тарелка с хлебом и кувшин с водой. А рядом лежала библия, ибо допрос под пыткой должен чередоваться с молитвой и торжественными увещеваниями, иначе он может показаться самым обыкновенным мучительством. Хлеб — по крайней мере сегодня — оставался нетронутым, но кувшин был пуст.

Джек почти все это время был ко всему глух и равнодушен. Он не пытался бежать через окно, даже не подумал об этом, а между тем спуститься по наружной стене было вполне возможно, хотя и труднее, чем из окна любой другой комнаты. Во вторник вечером он внезапно кинулся на дядю и пытался его задушить. Он с такой неистовой силой стиснул пальцами шею викария, что тот обезумел от страха, но через минуту все же одолел мальчика и швырнул его на пол. И началась дикая расправа, которой суждено было долгие годы являться обоим в страшных снах.

После этого викарий связал Джеку руки; но это была излишняя предосторожность: мальчик больше не думал сопротивляться. Изредка он слабо, почти машинально отбивался — но и только. А когда его развязывали, опять съезживался в своем углу, молчаливый, отупевший. Сейчас, когда дядя подошел и заговорил с ним, он ничком бросился на пол и забился в истерическом припадке.

Если бы викарий с самого начала хоть на минуту предположил, что человек, тем более не взрослый, сможет держаться так долго, он, безусловно, не вступил бы в этот поединок; но первая ошибка была уже сделана, отступить теперь значило бы выказать слабость. И, однако, отступить придется: положение становится невыносимым. Люди уже начали перешептываться и переглядываться, стоит ему пройти по деревне, а теперь еще это...

Он принес из соседней комнаты воды и хотел заставить Джека выпить. Но мальчик так стиснул зубы, что их невозможно было разжать. Наконец безмолвные судороги прекратились, и он отчаянно зарыдал.

— Слава богу! — пробормотал викарий. Наконец-то сломлена упрямая воля, которую он твердо решил покорить; поистине одержана самая трудная победа за всю его жизнь. Он глубоко, с облегчением вздохнул и поднялся.

Не дрогнув, исполнил он тяжкий, мучительный долг. Он презрел не только собственное вполне понятное отвращение, но и мольбы и слезы всех домашних и даже серьезную угрозу кривотолков и скандала, — и, надо надеяться, спас в мальчике душу живую. Мысль его обратилась к моряку, погибшему на коварных рифах Большого маяка. Утром он сам слышал, как одна жена рыбака сказала другой: «Капитан Джон такого бы не допустил». И она была права. У бедняги Джона не достало бы твердости, чтобы изгнать беса, которым был одержим мальчик; зато в день Страшного суда он будет благодарен, когда увидит своего сына среди спасенных.

Наконец рыдания прекратились; Джек лежал недвижимый, уткнувшись лицом в подушку. Викарий подсел к нему и тихо коснулся его плеча.

— Полно, Джек, не плачь. Сядь и выслушай меня.

Джек покорно сел, но отодвинулся подальше, забился в угол кровати. По глазам его никто бы не сказал, что он недавно плакал. Они как-то странно блестели.

— Дорогой мой, — мягко и вместе торжественно начал викарий, — все это было для меня так же ужасно, как и для тебя; не часто мне приходилось исполнять столь тяжкий долг. Но как христианин и служитель божий, я не могу и не смею терпеть душевную нечистоту. Кажется, не было в моей жизни разочарования более горького, чем то, которое я испытал, узнав, что мой дом обращен был в обитель порока, откуда исходил яд и отравлял мою паству, и что сын моего покойного брата едва не погубил невинные души.

На минуту он умолк. Джек не шелохнулся. Взгляд его огромных, широко раскрытых глаз был так странен, что викарию стало жутко.

— Я знаю, — продолжал он дрогнувшим голосом, — сейчас ты считаешь меня жестоким, бессердечным; но придет день — и ты будешь мне за это благодарен. Дитя мое, тебе грозила геенна огненная.

Мальчик по-прежнему не шевелился и, кажется, почти не дышал. Викарий взял его за руку.

— Но я вижу, что твоя бесовская гордость сломлена и ты раскаиваешься в своем грехе. Так поклянись же мне на библии, что исправишься. А потом, вместе преклоним колена и помолимся — да простит тебе господь смертный грех и да наставит тебя на путь истинный.

Он поднялся, не выпуская руки мальчика. Но тот молча, словно крадучись, ее отнял.

— Джек! — воскликнул викарий. — Ты еще не раскаялся?

Джек тоже встал и огляделся по сторонам, точно зверек, попавшийся в ловушку. Теперь он дышал громко, прерывисто.

— Вам... еще мало?.. — с усилием выговорил он. Это были первые слова, которые он произнес с того вечера, со вторника.

— Джек! — снова крикнул викарий. Лицо его до самых корней волос медленно залилось краской; губы плотно сжались. Что-то первобытное, чувственное и неистовое проступило в этом лице. Ноздри начали подергиваться.

— Джек, — произнес он в третий раз, умолк на мгновение и договорил: — Ты... кажется... мне дерзишь?

Минуту они молча смотрели друг на друга. Потом взгляд викария пополз вниз — на обнаженное плечо Джека, на рассекавший его алый рубец. И вновь им овладела давняя, хорошо знакомая жажда, сводящая с ума страсть: видеть, как кто-то беспомощный бьется у тебя в руках. Протянув жадные пальцы, он коснулся раны.

От этого прикосновения словно огонь пробежал по его жилам. Но в последний миг, перед тем как предаться своему дьявольскому наслаждению, викарий успел заметить, как жертва отпрянула от него, словно от прокаженного, и подумал: «Он понял!»

Джек медленно подошел к спинке кровати и протянул руки, чтобы викарий связал их.

В эту ночь, когда весь дом уже спал, Джек с трудом поднялся с пола. Он лежал тут, вздрагивая, уронив голову на скрещенные руки, с тех пор как остался один.

Он огляделся. Свечи ему не давали, но ночь была ясная, в окно светила луна. Снаружи, в плюще, обвивавшем стену, спросонок зачирикала какая-то пичуга.

Наконец он добрался до стола и выпил воды. Теперь ноги уже лучше держали его, и ему удалось дойти до шкафа, открыть его и достать огарок и спички, которые он припрятал недели две назад. Для чего он тогда это сделал, он уже забыл; замыслы и желания того, прежнего, Джека были теперь бесконечно далеки от него.

Он зажег свечу, раскрыл библию и стал листать ее в поисках отрывка, который давно уже не давал ему покоя. Джек хорошо знал священное писание, но нужное место отыскалось не сразу: трудно было перевертывать

страницы, руки онемели, распухли и тряслись. Притом его тошнило, голова кружилась, буквы плясали перед ним, и приходилось то и дело закрывать глаза и ждать, чтобы строчки снова выровнялись. И все-таки он нашел: это была двадцать седьмая глава Второзакония, глава о горе проклятия. Потом он с трудом наклонился и подобрал с полу хлыст. Викарий отшвырнул его, утолив наконец свою жажду. Джек положил хлыст на раскрытую страницу и прижал так, что кровавая полоса отпечаталась под девятнадцатым стихом: «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову! И весь народ скажет: аминь!»

Потом он выбрался из окна и соскользнул по плющу вниз. Прежде он столько раз проделывал это, вовсе не думая об опасности; но сегодня, когда он долез до карниза, голова у него опять закружилась, стена качнулась, наклонилась, и клумба встала дыбом и ринулась ему навстречу. Джек вскинул руки и упал.

Остаток ночи прошел в хаосе смутных ощущений, все как-то непонятно изменялось и путалось; его бросало то в жар, то в холод; вокруг бушевали огромные крикливые толпы и вдруг исчезали; что-то жгло ему правую руку; что-то гремело, сверкало, с шумом хлестала вода; и потом снова все проваливалось в безмолвную тьму.

На рассвете он очнулся и кое-как заполз в дровяной сарай, который, к счастью, оказался рядом. Он сделал это почти безотчетно — так раненое животное, движимое слепым инстинктом, забивается куда-нибудь в темный угол, чтобы умереть. Он понял, что правая рука его сломана; все остальное смешалось, было еще только ощущение холода, кружилась голова и хотелось одного: если уж надо умереть, то скорей бы. Он всегда был скверным мальчишкой и если умрет без покаяния, то, конечно, ему одна дорога — в ад; но это его не слишком огорчало: до Страшного суда еще далеко, а когда тебе так плохо, то попадешь ли в ад или еще куда-нибудь — разница невелика.

Около восьми часов в сад вышел викарий. Глаза его смотрели сурово и сверкали гневным металлическим блеском; он уже побывал в камере под крышей и видел кровавую черту в библии и оборванный плющ под окном. Что, если мальчишка удрал и нашел убежище у деревенских жителей или у диссидентского священника? Правда, более вероятно, что он направился в Фалмут в сумасбродной надежде наняться на какой-нибудь корабль. Но может случиться и другое...

Викарий сжал кулаки. «Если б только я не дотронулся до этой раны...» — подумал он и побагровел от гнева, вспомнив обнаженное плечо и кровавый рубец, который окончательно свел его с ума. Он даже в мыслях не

смел назвать настоящим именем то, что произошло накануне; и, однако, он прекрасно знал, что это было. Всю ночь его преследовали сны, — много лет он думал, что больше им уже не суждено его тревожить; а ведь он вел такую суровую, безупречную жизнь, за все эти годы он ни разу не дал воли своему воображению. В молодости, еще в Лондоне, едва приняв сан, он однажды вечером у себя в спальне, после многих бесплодных попыток, изловил крысу; эта утомительная охота вывела его из терпения — и злосчастной крысе, попавшейся в конце концов ему в руки, долго пришлось ждать смерти-избавительницы. Потом он ушел из дому, возвратился, крадучись, только на рассвете и, мучаясь отвращением и укорами совести, говорил себе: во всем виновата крыса! И теперь ярость его обратилась на Джека: мальчишка заставил его споткнуться, осквернил его достойные седины, вновь пробудил обжигающие стыдом воспоминания и томления.

На глаза ему попала отворенная дверь дровяного сарая, и он заглянул туда. Что-то, скорчившееся среди вязанок хвороста, поползло еще дальше в темный угол. Викарий подошел и наклонился.

— Джек! Что ты здесь делаешь?

Мальчик попробовал отползти еще немного.

— Что с тобой? Ты упал и ушибся?

— Нет.

— Ты вылез из окна? Хотел убежать? Вставай!

Он помедлил минуту, дожидаясь, пока Джек послушается, но мальчик не шевельнулся. Викарий почувствовал, что самообладание снова ему изменяет: эта дрожащая беспомощность, немой бессильный ужас были для него неодолимым искушением.

— Вставай! — повторил он.

Джек с усилием приподнялся, вскинул глаза. В зрачках его блеснули красные искры, словно вдруг вспыхнул едва тлеющий трут.

— Ну что, — сказал он, — убьете вы меня? Или мне убить вас?

У викария потемнело в глазах, всю свою силу он вложил в слепой удар кулака.

Молча, безжизненным комом Джек свалился к его ногам, и тут викарий понял, что он сделал. В первое мгновение ему от страха почудилось, что это он сейчас сломал мальчику руку. Он позвал на помощь, из дома выбежала миссис Реймонд.

— Джозайя! Что случилось?

— Помоги внести его в дом и сейчас же пошли за доктором. Скорее!

Она наклонилась, чтобы войти в сарай, — и остановилась как

вкопанная, увидев лежавшего на земле Джека. Минуту она молча стояла и смотрела; потом обернулась к мужу:

— Что ты сделал?

Не выдержав ее взгляда, он опустил глаза.

— Не знаю.

Не сказав больше ни слова, она наклонилась и помогла поднять мальчика; и викарий, подобно Филиппу, королю испанскому^[6], понял, что подданные его осудили.

Едва придя в себя, Джек вновь терял сознание. Спешно вызванный доктор Дженкинс пощупал ему пульс — и лицо его потемнело.

— Дайте еще коньяку и горячие припарки, быстро! И пошлите за доктором Уильямсом, мне нужен его совет.

Викарий стал чуть ли не так же бледен, как Джек.

— Разве это... опасно? — запинаясь, выговорил он.

— Пульс еле прощупывается. Почему меня не позвали раньше?

Викарий провел языком по пересохшим губам.

— Не знаю, — сказал он.

Все еще не выпуская запястье Джека, доктор Дженкинс внимательно посмотрел в лицо викарию.

— И вы не знаете, как это случилось? И когда?

— Не знаю.

Доктор снова наклонился к мальчику.

Когда явился доктор Уильямс, непосредственная опасность шока миновала, и старик немного удивился, что коллега счел нужным за ним послать. Пока накладывали лубки на сломанную руку, Джек снова лишился сознания; но на этот раз он очнулся быстрее и время от времени из-под опущенных век равнодушно взглядывал на хлопотавших вокруг него людей. Ему хотелось, чтобы его наконец оставили в покое, но не было сил протестовать, да, наверно, его никто бы и не послушал; оставалось покорно терпеть. Когда к кушетке приближался дядя, Джек вздрагивал и отворачивался; в остальном он был совсем тихий и послушный, только не отвечал ни на какие расспросы.

— Ты не помнишь, как упал? Откуда — из окна? А когда упал? Как это случилось?

Джек только молча качал головой.

Потом ему дали что-то выпить, и он безропотно выпил, не понимая, почему его не оставят в покое и почему стакан так стучит о зубы. После этого он почувствовал себя крепче и сознание прояснилось, но радости это ему не принесло. Лежать было очень больно, и он терпеливо пытался

переменить позу, волей-неволей сдаваясь, когда искры уж слишком плясали перед глазами, и упрямо возобновляя попытки, как только удавалось перевести дух. Наконец он понял, что все равно ничего не выйдет, и затих на своей кушетке, закусив губу и желая только одного: умереть. Ему и в голову не приходило попросить, чтобы ему помогли.

— Поправить тебе подушку? — спросил викарий.

Джек молча взглянул на него; стоявший тут же доктор Дженкинс увидел в черных глазах мальчика смертельную ненависть и наклонился к нему.

— Ну как, рука очень болит?

— Нет, ничего, когда не трогают.

— А еще что-нибудь болит?

Джек медленно обратил на него хмурый, презрительный взгляд.

— С чего вы взяли? Я, кажется, не хныкал.

— Ну еще бы, ты же маленький спартанец, — обернувшись, с улыбкой заметил доктор Уильямс. До его слуха донеслись только последние слова Джека. — Хотел бы я, чтобы все взрослые пациенты так мало хныкали, как ты, — согласны, Дженкинс?

Доктор Дженкинс промолчал. Глаз у него был более зоркий, чем у старика Уильямса, и ему страшно было смотреть на упрямую, привычную выдержку этого юного стойка, почти ребенка. Следы веревки на запястьях Джека с первой минуты пробудили в нем подозрения, и он незаметно стал наблюдать. Когда на мальчика не смотрели, он украдкой подносил к губам левую руку, и впивался в нее зубами. Так вот откуда бесчисленные ранки на его смуглой коже: как видно, не всегда достаточно просто стиснуть зубы. «Этой уловке ты выучился не в одну ночь, — подумал доктор Дженкинс, — и ты знаешь больше, чем скажешь. Мы еще не докопались до того, что тут на самом деле произошло».

Джек тоже не ответил Уильямсу, но губы его покривились. Он был по горло сыт ролью спартанца, он рад был бы заплакать, закричать, как все дети. Но теперь уже поздно было начинать, притом он слишком устал; и, не проронив ни звука, он отвернулся к окну.

— Тебе лучше? — спросил доктор Уильямс, видя, что мальчика уже не бьет дрожь. — Давай-ка мы тебя совсем разденем и проверим, не повредил ли ты себе еще чего-нибудь.

— Я как будто видел кровь на правом плече, — подхватил доктор Дженкинс.

Голос его прозвучал как-то странно; Джек быстро глянул на него и опять опустил глаза.

— Да уж, наверно, после такого падения мы обнаружим и царапины и синяки, — весело отозвался старый доктор. — Не дрожи так, дружок, я больше не сделаю тебе больно; худшее уже позади. Ого!

Рубашка на Джеке оказалась вся в крови.

— Что за чертовщина, как это тебя угораздило? — воскликнул Уильямс. — Ты что же, целый месяц каждую ночь вываливался из окон? До такого состояния не дойдешь просто... Дженкинс, подите-ка сюда! Посмотрите на плечи этого ребенка! Да ведь это же...

Наступила мертвая тишина, три человека молча смотрели друг на друга. Неожиданно Джек вскинул глаза на дядю, и взгляды их встретились.

— Бога ради, Джек! — хрипло прошептал священник совершенно белыми, как и у мальчика, губами. — Почему ты сразу не сказал мне, что рука сломана?

Джек только посмотрел на него и засмеялся.

ГЛАВА VI

Как ни был взбешен доктор Дженкинс, он держал язык за зубами. Правда, когда он вышел из дома Реймондов, он готов был тотчас же предать случившееся гласности и только после ожесточенного спора со своим коллегой решил пока промолчать.

— Профессиональная тайна! — перебил он на обратном пути рассуждения старика. — А если я приду в дом и увижу, что совершается убийство, я тоже, по-вашему, обязан соблюдать профессиональную тайну? А тут без пяти минут убийство. Толкуют про то, какой викарий достойный и порядочный человек... остается благодарить бога, что не все похожи на него! С этакой мерзостью я не часто сталкивался, даже когда практиковал в ливерпульских трущобах. Можно подумать, что мальчика терзал дикий зверь.

— Не спорю, случай ужасный, — кротко отвечал доктор Уильямс. — Но кому пойдет на пользу, если вы его разгласите? Погубите репутацию викария, газеты поднимут страшный шум, а положение мальчика станет еще хуже прежнего. И, наконец, подумайте о несчастной миссис Реймонд!

Однако сдержанность обоих врачей оказалась напрасной. Вероятно, проболталась прислуга; так или иначе, в понедельник к вечеру весь Порткэррик и все окрестные деревни только и говорили, что о скандале в доме викария. Даже нелюдимый старый сквайр, закоренелый тори, страдающий подагрой и дурным нравом, покинул свое угрюмое гнездо на вершине утеса, чтобы торжественно обсудить все это со школьным учителем и с помощником мистера Реймонда. Видя, что скрывать больше нечего, а их молчание только дает пищу самым невероятным сплетням, оба врача решили огласить все, что знали. Тогда мистер Хьюит подробно сообщил им обо всех чудовищных прегрешениях Джека; а помощник викария с полной серьезностью заметил, что действия мистера Реймонда, «сколь ни прискорбны они для всех нас», вызваны лишь чересчур ревностным попечением о всеобщей нравственности.

— А мне что до этого, сэр? — гремел старый сквайр. — Как будто я без вас не знаю, что Джек Реймонд отъявленный негодяй! Да это в Порткэррике всякая собака знает, и это тут ни при чем. Если мальчишке не место среди порядочных людей, засадите его в исправительный дом, для чего же еще мы их содержим на наши кровные деньги? Но что бы там ни было, покуда я здесь хозяин, я не потерплю у себя в округе никакой

вивисекции и средневековых пыток.

Под конец дело, разумеется, замяли, но без бурной сцены в доме викария не обошлось. В любое другое время мистер Реймонд с негодованием отверг бы всякое вмешательство посторонних в свои семейные заботы; но потрясение, пережитое им в то субботнее утро, когда он понял, что едва не стал виновником непоправимого несчастья, совсем выбило его из колеи. И вот он сидит у стола, опершись головой на руку, беспокойно постукивает ногой по полу и выслушивает все, что говорят его обвинители; потом со вздохом поднимает глаза.

— Без сомнения, вы правы, джентльмены, — говорит он. — Да, я виноват, но намерения у меня были самые лучшие. Я полагал, что не столь важно, если и пострадает одно брэнное тело, лишь бы не погибли многие бессмертные души. Быть может, я совершил ошибку, послав племянника в школу, где он мог совращать других, я ведь знал его дурной нрав, которым провидению угодно было меня покарать. Я слышал, — прибавил викарий, обращаясь к доктору Дженкинсу, — что иные врачи полагают, будто такие порочные наклонности можно искоренить при помощи особого гигиенического лечения; но самая основа этой теории, на мой взгляд, глубоко безнравственна. Как может гигиена излечить грех?

— Я не богослов, — резко ответил доктор Дженкинс. — Я старался спасти мальчику жизнь и, надеюсь, рассудок; его нравственность меня не занимала.

Бледное лицо викария стало землистым.

— Вы опасаетесь за его разум? — спросил он. Доктор Дженкинс опомнился: не следовало говорить так беспощадно.

— Нет, — сказал он, — дело не так уж скверно; но я опасаюсь истерии. Слишком сильно было нервное потрясение.

Немного спустя в кабинет вошла миссис Реймонд и застала мужа одного; он был бледен, как мертвец. При виде жены он торопливо поднялся; ему было достаточно тяжело сознавать, что он потерял уважение своих прихожан, он не желал видеть еще и распухшие от слез глаза жены.

— Джозайя, — с трудом выговорила она, когда он уже готов был выйти из комнаты.

Викарий обернулся и величественно остановился перед нею.

— Да, Сара.

— Когда пойдешь наверх... если можно... не разговаривай в коридоре, хорошо? Это... это очень тревожит Джека...

— Ты хочешь сказать, что его тревожит мой голос?

— Я... помнишь, вчера вечером ты позвал Мэри-Энн? Джек услышал, и

с ним сделался припадок. Он... он очень болен, Джозайя.

Ее голос задрожал и оборвался. Долгие годы она была покорной женой, а теперь ей было стыдно за мужа. Она скорее умерла бы, чем высказала ему это; но говорить было незачем: он прочел это в ее взгляде.

Быть может, единственным человеком во всем Порткэррике, кто ничего не слышал о случившемся, был сам Джек. У него в комнате, разумеется, ни о чем таком не заговаривали, а если бы и заговорили, он бы, пожалуй, не услышал. Две недели кряду он каждый вечер начинал бредить и проводил в беспамятстве чуть ли не каждую ночь. Днем он обычно лежал ко всему безучастный, изредка еле слышно стонал, чаще застывал в каком-то оцепенении. Если к нему обращались, он поднимал тяжелые веки, смотрел устало и равнодушно или холодно и неприязненно и опять молча закрывал глаза. Когда входил дядя, мальчика охватывали приступы такого ужаса, что доктор Дженкинс вынужден был запретить викарию переступать порог этой комнаты; но ко всему остальному больной, казалось, был глух и слеп. Даже ежедневной мучительной перевязки он словно не замечал. В первый раз, когда сняты были бинты, миссис Реймонд, помогавшая доктору, разрыдалась от ужаса и стыда; мальчик на мгновенье поднял глаза и еле слышно с досадой прошептал: «Оставьте меня в покое!»

Болезнь тянулась дольше, чем предполагали сначала. Осложнений не было, но Джек все никак не мог оправиться. Сломанная рука медленно, но верно срасталась, даже раны от истязаний почти уже зажили, а он по-прежнему лежал без сил, без движения, и его то и дело лихорадило. Однако время и заботливый уход все же победили, и он начал поправляться; на дворе стоял уже август, когда наконец ко всему равнодушная бледная тень прежнего Джека спустилась вниз и прилегла на кушетке в гостиной.

И хоть все ему было безразлично, а выздоравливать все же оказалось приятно. Теперь вокруг него не так суетились, не торчали беспрестанно у него в комнате, не спрашивали поминутно: «Голова не болит?» или «Я не задел твою руку?» По правде говоря, когда доктор Дженкинс сказал: «Ну, вот, он здоров, ему надо только окрепнуть», — тетя Сара и все в доме, кажется, вздохнули с облегчением: теперь можно было его избегать. С ним по-прежнему обращались как с больным; заботливо поправляли подушки на кушетке; в положенные часы поили лекарствами и крепким бульоном; но в общем его оставляли в покое. Теперь он изредка мельком видел Молли — девочка робко останавливалась на пороге и пугливо смотрела на него из-за спутанных кудрей; ужас и таинственность, воцарившиеся в доме, передались и ей, и она безотчетно связала это настроение с болезнью брата.

А Джек, бросив на сестренку беглый взгляд, равнодушно отворачивался: она его больше не занимала. Хуже всего было то, что, возвращенный к обычному распорядку жизни в доме, он снова был вынужден встречаться с дядей. Но хотя Джек смертельно боялся первой встречи, когда эта минута наступила, он был совершенно спокоен. Стараясь не смотреть друг на друга, они поговорили о каких-то пустяках.

Потом равнодушие и пустота внутри сменились вялым любопытством. Мысль, остановившаяся, как часы во время землетрясения, вновь нехотя сдвинулась с мертвой точки, но теперь она снова и снова шла все по тому же тесному замкнутому кругу, спотыкаясь, точно сонный раб, лениво проделывающий одну и ту же бессмысленную работу. Опять и опять Джек пытался разгадать ту же загадку: откуда она, внутренняя связь между гнусностями, внешне так не похожими друг на друга? Он немало не сомневался, что связь эта существует; в чем она заключается, его мало интересовало; и, однако, он день за днем возвращался к этой головоломке, хмуро и холодно поворачивал ее на все лады, понемногу составляя туманную, бесформенную и уродливую теорию из тех, какие хорошо знакомы врачам в домах для умалишенных.

Случайно услышанные давным-давно, еще прежде, чем он выпустил дрозда, обрывки разговоров, которые шепотом вели между собою одноклассники, казавшиеся ему такими же мальчишками, как он сам; строки из библии, столько раз читанные, что все слова были знакомы и привычны, хотя в смысл их он никогда не вдумывался; сценки, нечаянно виденные на соседних скотных дворах; куски каких-то старинных историй из латинской хрестоматии; фотографии, объяснившие ему, что означали эти слова, сценки, отрывки, — все это теперь ожило в мозгу и неотступно преследовало его. Вспоминалось и лицо дяди в ту последнюю ночь; то же выражение смутно почудилось Джеку и в час, когда взгляды их встретились над беспомощной собакой. Наверно, такое же лицо было у Тарквиния, когда он подкрался к ложу Лукреции.

В последнее воскресенье августа к Реймондам заглянул доктор Дженкинс. Обедня уже отошла, но семья викария еще не вернулась из церкви. Дома был только Джек, он лежал на кушетке у окна и широко раскрытыми глазами безнадежно смотрел на исхлестанную дождем вересковую долину.

Доктор Дженкинс, как и все вокруг, поверил всему, в чем обвиняли Джека, и до сих пор относился к нему с холодным равнодушным сожалением; но в эту минуту желание утешить мальчика оказалось сильнее всего.

— Может быть, для тебя было бы лучше жить не дома? — спросил он. Трагическое лицо Джека словно застыло.

— Да, поэтому дядя меня и не отпустит.

Это прозвучало без горечи, — так называют своими словами простую, будничную истину.

— А ты с ним об этом говорил?

— Я спрашивал, можно ли мне уехать куда-нибудь и поступить в другую школу.

— И он не согласился?

— Конечно нет.

Минута прошла в молчании.

— Джек, — снова заговорил доктор, — ты понимаешь, почему дядя тебя не отпускает?

— А я и не надеялся, что он отпустит, — ровным голосом ответил Джек, — я ему нужен для забавы. Вы никогда не видали, как он дрессирует щенят? Дядя любит, когда кто-нибудь живой бьется у него в руках.

Доктор Дженкинс содрогнулся: такая ненависть прозвучала в этом ровном голосе. Они опять помолчали; старший сосредоточенно думал, младший опять устремил безнадежный взгляд в мокрую даль за окном.

— Мне кажется, я смогу его уговорить, — сказал наконец доктор Дженкинс.

— Конечно: вы слишком много знаете.

— Имей в виду, мальчик, я не люблю циников, даже взрослых. Допустим, я попрошу за тебя.

Жесткая складка легла у губ Джека.

— Зачем? Вам-то что?

— Ничего. Просто я вижу, что ты несчастлив, и мне тебя жаль.

Джек порывисто сел, в глазах его блеснул затаенный огонек.

— Вы хотите мне помочь?

— Если смогу, — очень серьезно сказал доктор Дженкинс, озадаченный этой переменной.

Джек изо всех сил стиснул руки.

— Тогда вытащите меня отсюда! — заговорил он хриплым, срывающимся голосом. — Отправьте меня куда-нибудь, чтоб мне никогда больше не видеть дядю. Я... я больше не могу здесь... вам, конечно, не понять... я буду терпеть, сколько смогу, но долго мне не выдержать...

Слова замерли у него на губах, как замирает внезапный порыв ветра. Доктор Дженкинс с недоумением смотрел на него.

— Поговорим начистоту, Джек, — сказал он наконец. — Я знаю, тебе

пришлось тяжело... очень тяжело, и я тебе сочувствую больше, чем можно выразить словами. Думаю, если бы твой дядя с самого начала больше доверял тебе, а не... ну, да не о том речь. Но, допустим, сейчас мы попробуем тебе поверить. Скорее всего он не хочет отпустить тебя в школу потому, что опасается... опасается, как бы ты не оказался дурным товарищем для других мальчиков. Разве не в этом настоящая причина?..

Он поднял глаза — и осекся: Джек смотрел на него в упор, от этого холодного, затаенного, неотступного взгляда из-под полуопущенных век у него перехватило дыхание.

— По-вашему, все дело в этом?

Голос Джека, прозвучавший после недолгого молчания, привел доктора в себя. И он спросил серьезно:

— А по-твоему, нет?

Мальчик медленно опустил глаза; итак, доктор Дженкинс ничего не понял.

А доктор настаивал на своем:

— Но дядя объяснял тебе, какие у него причины?

Опять короткое молчание.

— Он сказал, что его долг нести свой крест самому, а не перекладывать на чужие плечи, — как прежде вяло и равнодушно, словно речь шла о посторонних, отозвался Джек.

— Так я и думал. Послушай: один мой друг давно уже директором хорошей школы в Йоркшире. Мне кажется, если я потолкую с твоим дядей, он разрешит мне на мою ответственность рекомендовать тебя туда. После всего, что произошло, это будет нелегкая ответственность, Джек; но я хочу тебе поверить. Надеюсь, ты не заставишь меня об этом пожалеть?

В глазах Джека стал разгораться угрюмый огонь. Не дождавшись ответа, доктор Дженкинс мягко прибавил:

— Видишь ли, дружок, я ведь должен подумать и о других. Если из-за тебя погибнет какой-нибудь малыш и это случится по моей вине, я никогда себе не прощу.

— Зачем же мне поступать в хорошую школу, раз я такой скверный? — прервал Джек. — Хватит с меня хороших людей. Может, найдется на свете кто-нибудь, кого мне уже не испортить! И вообще незачем мне поступать в школу. Лучше я сам начну зарабатывать свой хлеб. У меня достаточно силы, и я... — Он задохнулся, потом с усмешкой прибавил: — Я не стану привередничать. Пойду хоть юнгой на невольничий корабль, если хотите, лишь бы подальше от дяди.

— Не говори глупостей, мальчик, — с мягким укором заметил доктор.

— Поразмысли хорошенько, обещай мне, что начнешь новую жизнь, откажешься от прежних привычек, и я...

Он взял Джека за руку, тот в бешенстве вырвался.

— Не буду я ничего обещать. Я сам найду выход.

— Очень жаль, — искренне сказал доктор Дженкинс. — Было бы лучше, если б ты принял мою помощь.

Больше он ничего не успел сказать: возвратились из церкви домашние, и доктором сразу завладела Молли. Она была его лучшим другом во всем Порткэррике; доктор Дженкинс питал к ней ту своеобразную, глубоко серьезную братскую нежность, с какою одинокие холостяки относятся подчас к совсем маленьким и простодушным девочкам.

Джек снова погрузился в обычное угрюмое молчание. За столом его не было слышно. Но когда отпили чай, он вдруг сказал:

— Дядя!

Он так редко первый заговаривал теперь с викарием, что все удивленно на него посмотрели.

— Это решено, что мне нельзя поступить в школу?

Лицо у мистера Реймонда стало суровое.

— Да, решено, и ты сам знаешь, почему. Тебе уже раз было сказано, и довольно об этом.

— Хорошо. Я только хотел знать наверняка.

— Иди приляг, Джек, — робко попросила миссис Реймонд. Ей было не по себе оттого, что такой разговор произошел при докторе Дженкинсе. — Когда Молли ляжет спать, я приду и почитаю тебе.

Джек подошел к кушетке и лег. После болезни он стал на редкость послушным в мелочах.

— Доктор Дженкинс обещал мне почитать, — сказал он небрежно.

Доктор удивленно оглянулся: ничего подобного он не обещал. Джек пристально смотрел на него, и доктор Дженкинс снова подумал, что странно и дико видеть это сдерживаемое напряжение на еще детском лице.

— Не затрудняй доктора, — сказала тетя Сара. — Я сама тебе почитаю.

— Доктор Дженкинс обещал, — повторил Джек.

Лицо его застыло, точно маска, в черных глазах была непреклонная воля. Доктор Дженкинс подошел к кушетке. Он просто не мог не покориться силе, скрытой в этом мальчике.

— Изволь, я почитаю тебе, дружок. Что ты хочешь послушать — какой-нибудь рассказ?

— Главу из библии, пожалуйста. По воскресеньям мы читаем только

библию.

— Вас это в самом деле не затруднит, доктор? — спросила миссис Реймонд.

Доктор Дженкинс обернулся, чтобы ответить, и вдруг почувствовал, как пальцы Джека стиснули его руку.

— Ничуть, — сказал он. — Я с удовольствием почитаю, если только вы и мистер Реймонд запасетесь терпением: чтец я неважный. Разрешите... — Он подвинул для нее стул и прибавил вполголоса: — Не надо ему сейчас перечить; под вечер его все еще немного лихорадит.

Миссис Реймонд села и взяла Молли на колени.

— Я уже нашел главу, сэр, — сказал Джек, передавая доктору библию в коричневом переплете. — Может быть, вы немного повернете кушетку? Свет режет мне глаза. Вот хорошо, спасибо.

Теперь кушетка стояла так, что кресло дяди оказалось как раз напротив Джека. Доктор Дженкинс сел подле мальчика и взял у него библию. Она была раскрыта на главе с отмеченным стихом.

— Неужели ты хочешь эту главу? — удивился он. — Ведь это глава проклятий.

Викарий бросил на них беспокойный взгляд.

— Лучше прочесть евангелие на сегодня, — предложил он.

— Я уже читал утром, — равнодушно сказал Джек. — Пожалуйста, сэр, эту главу, если вам не трудно. Мне надо было выучить ее наизусть, а я не уверен, что все запомнил.

Эти спокойные слова никак не отвечали выражению его лица, и в докторе Дженкинсе шевельнулось любопытство.

«А мальчик с норовом, — подумал он. — Хорошо, что не я должен его укрощать». Однако он не стал больше возражать и принялся за чтение; его и озадачивало и немного забавляло, что им так помыкает проштрафившийся школьник.

Джек впился глазами в лицо дяди и беззвучно шевелил губами, — как видно, повторял про себя выученную главу. Доктор читал дальше; он пропустил девятнадцатый стих, под которым страницу пересекала бурая полоса, обошел иные слишком смелые выражения, хоть слушатели и знали их назубок. Его мучило смущение, неловкость, чуть ли не досада.

— Попробуем поискать что-нибудь более подходящее, — сказал он, дочитав главу. — Может быть, я почитаю о...

— Пожалуйста, следующую главу, — мягко попросил Джек, не поворачивая головы и не сводя глаз с неподвижной фигуры в кресле.

— Не приставай, Джек, — резко сказал викарий. — Предоставь

доктору Дженкинсу выбирать самому.

Пальцы Джека стиснули запястье доктора.

— Пожалуйста, продолжайте, — прошептал он, не шевелясь. — Следующую главу...

Лицо у него по-прежнему было застывшее, белое, как бумага.

«Хотел бы я знать, что он затеял? — подумал доктор Дженкинс. — Уж наверно что-нибудь недоброе».

Он знал библию далеко не так хорошо, как Реймонды. Взглянул на первые стихи двадцать восьмой главы — и начал читать, радуясь, что с проклятиями покончено и настал черед благословений. Только в конце страницы он понял, о чем речь в этой главе.

«Проклят ты будешь в городе и проклят ты будешь в поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод волов твоих и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоём и проклят при выходе твоём...»

Доктор Дженкинс опустил библию на колени; он просто не в силах был продолжать.

Миссис Реймонд вся побелела, губы ее дрожали. Девочка у нее на коленях тоже побледнела, хоть и не понимала, отчего ей так страшно. Огромные глаза Джека по-прежнему не отрывались от лица викария.

В комнате воцарилась гнетущая тишина. Доктор Дженкинс снова взялся за книгу и продолжал читать с мучительным ощущением, что участвует в казни. Беспомощно запинаясь и путаясь, произносил он проклятие за проклятием, чем дальше, тем более грозные:

«От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: о, если бы пришел вечер! — а вечером скажешь: о, если бы наступило утро!..»

Викарий вскочил на ноги, сдавленный крик вырвался из его груди.

Библия упала на пол. Джек стоял на коленях на кушетке, вцепившись одной рукой в изножье, и смотрел дяде прямо в глаза. Громко заплакала Молли.

— Благодарю вас, — сказал Джек и снова лег. — Теперь дядя меня отпустит.

ГЛАВА VII

И вот, когда начался учебный год, Джек поступил в школу. Добившись главного, он стал безукоризненно послушен во всем остальном. Выбор мистера Реймонда пал на вполне добропорядочную школу неподалеку от Лондона, и Джек, услышав об этом, спокойно и равнодушно согласился. В последнее утро, когда уже пора было ехать на станцию, викарий позвал племянника к себе в кабинет.

— Считаю нужным тебе сказать, — начал он, — что, сообщая доктору Кроссу необходимые сведения, я не упомянул о последнем твоём проступке. Иначе он, безусловно, отказался бы тебя принять; боюсь, что я поступаю дурно, вводя его в заблуждение. Но я выбрал именно его школу, прежде всего потому, что, как говорят, он весьма строго следит за поведением своих воспитанников; поэтому, надеюсь, у тебя не будет возможности пагубно влиять на товарищей. Итак, на тебе нет пятна, твоё дело — искупить прошлое. Но помни, больше тебе такого случая не представится. Если доктор Кросс отошлет тебя обратно, тебе одна дорога — в исправительный дом.

Джек стоял и слушал, не поднимая глаз. Не дождавшись ответа, викарий прибавил негромко:

— Взывать к твоим родственным чувствам, я думаю, бессмысленно, не то я просил бы тебя не доставлять нового горя тетке и не позорить сестру. Но ради тебя же самого прошу — опомнись, пока не поздно. От исправительного дома до каторжной тюрьмы один шаг.

Никакого ответа. Викарий со вздохом поднялся.

— Я надеялся, что ты наконец раскаешься и признаешь свою вину. В твоей жизни настала решающая минута, Джек. Ты ничего не хочешь сказать мне перед отъездам?

Джек медленно поднял глаза.

— Только одно.

Он говорил хмуро, но спокойно и сдержанно.

— Пошлете вы меня в исправительный дом или нет, — надо думать, я как-нибудь выживу и стану взрослым. Молли остается у вас, и я не могу ее отнять, потому что вы сильнее меня. Но я вырасту и стану сильнее вас. И если вы будете с ней плохо обращаться, я вернусь и убью вас. А с Меченой вы больше ничего не сделаете: сегодня утром я ее утопил. Вот и все. Прощайте.

Скоро Джек вошел в колею школьной жизни и половину первого семестра провел в усиленных занятиях, не заводя ни друзей, ни врагов. Никто не обращался с ним плохо; никаких событий не происходило; он даже не чувствовал себя таким уж несчастным. «Привыкаю», — думал он с глухим презрением к себе; тот, кто способен преспокойно существовать, вытерпев такое надругательство над телом и душой, на его взгляд, не стоил даже ненависти. Должно быть, все чувства его притупились.

От его былой необузданности не осталось и следа. Озорник, равного которому не сыскать было на двадцать миль вокруг, стал образцом кротости и послушания; и, однако, ни учителя, ни школьники его не любили. Одноклассники, в большинстве самые обыкновенные неплохие мальчики, сначала пробовали с ним подружиться, но он их оттолкнул — не зло, только с угрюмым безразличием. Ни спорт, ни игры его больше не занимали, но и особым усердием в науках он не отличался: выполнял все, что было задано, но даже не делал вида, будто это ему интересно. Казалось, он жаждет только одного: спать. Если бы ему позволили, он с наслаждением спал бы пятнадцать часов в сутки. И учителя и ученики постепенно решили, что этот Реймонд просто скучный, ленивый тюлень, которому не хватает ни ума, чтоб хорошо учиться, ни живости, чтобы озорничать. В придачу его считали еще и трусом. Перед рождеством у всех мальчиков осматривали зубы, — и Джек, прежде такой храбрый, побледнел и задрожал, когда зубной врач сказал, что ему надо поставить пломбу.

Викарий просил директора на рождество и пасху оставить Джека в школе и прислать его домой только на летние каникулы. Дорога слишком дальняя, писал он, чтобы стоило затевать эту поездку ради какой-нибудь недели. Доктор Кросс удивился подобной просьбе, несколько неожиданной в наше время, когда ездить по железной дороге и дешево и просто, но возражать не стал; итак, на рождество, когда все остальные школьники разъехались по домам и превесело проводили время, Джек бродил по опустевшим площадкам для игр и спал один в просторном пустом дортуаре. Вот в эту пору в нем и пробудилась мысль.

Работа мысли давалась ему очень нелегко. Ум его не был приучен к подобным усилиям; не было у него и той способности судить обо всем быстро, хоть и неглубоко, какую дает постоянное общение с людьми думающими. Должно быть, в доме викария ни один человек в жизни не пытался думать самостоятельно; общесемейные убеждения и верования, хотя и вполне искренние, были унаследованы от предков точно так же, как и фамильное серебро, черты лица и добродетели. Реймонды жили, как

жили до них многие поколения Реймондов, и никогда не вопрошали небо: почему? Но Джек, предоставленный самому себе, сидел среди развалин своего загубленного детства и ломал голову над этим роковым вопросом.

Весь мир стал казаться ему огромным рыбным садком, где большая рыба пожирает мелкую рыбешку лишь для того, чтоб потом и ее подцепило на крючок и пожрало грозное двуногое чудище по имени Смерть. Совершенно ясно, что от этого последнего ужаса никакого спасения нет, а потому самое разумное — попросту не смотреть в ту сторону и обратить все внимание на те опасности, которых можно избежать.

Дядя больше и сильнее его, так же, как Тарквиний был больше и сильнее Лукреции, — вот и объяснение тому, что обрушилось на него летом. Все это в порядке вещей, и незачем кого-то упрекать, возмущаться, выходить из себя. Словно божество Калибана^[7] Сётебос, тот, кто сильнее, делает, что хочет. Слабейшему остается одно: развивать свои мышцы и набирать силы, чтобы из встречи с новым хищником выйти уже не побежденным, а победителем. Вот почему, когда школьники съехались после каникул, они нашли в Джеке перемену: как и прежде, он был угрюм, замкнут, вяло покорен старшим, но словно бы несколько очнулся от недавнего сонного равнодушия, у него появилось хотя бы одно увлечение: спорт.

— Я хотел бы, — в первый же вечер сказал ученикам доктор Кросс, — чтобы старшие из вас присмотрели за новичком, который приезжает завтра, и не давали его в обиду. Он иностранец, единственный сын у матери-вдовы, и полагают, что из него выйдет гениальный музыкант. Ему всего одиннадцать лет, притом он не очень крепкого здоровья, и боюсь, что дома его порядком избаловали. Разумеется, теперь его следует приучать к более суровой жизни; но делать это надо с осторожностью, и я на вас надеюсь.

И директор вышел; Джек пожал плечами. Итак, начнем нянчиться с плаксивыми младенцами и комнатными собачками.

С первого взгляда Джек втайне ощутил к новичку холодную враждебность. Ломаная английская речь и скрипка были и сами по себе противны; однако с этим он бы уж как-нибудь примирился. Но ему был отвратителен весь облик новичка. Ангельское личико в ореоле золотых кудрей и огромные испуганные и серьезные голубые глаза безмерно его раздражали. Как видно, этого херувимчика всегда оберегала от Сетевоса целая орава маменек и нянюшек.

Доктора Кросса школьники любили и его желания обычно уважали, поэтому «малыша», как сразу прозвали новичка, преследовали меньше, чем можно было ожидать. Но все же, когда поблизости не оказывалось

старшин, его дразнили довольно жестоко, и первые недели в школе он провел невесело. Он явно побаивался этих больших шумных мальчишек, которые то смеялись над ним, то вдруг принимались его опекать; все вокруг было чужое, непривычное и непонятное и так не походило на тихий, замкнутый мирок его раннего детства, где на всем лежала тень скорби, вечно омрачавшей лицо матери, и слышалось смутное эхо далеких и грозных событий. Целый месяц он был беспомощной жертвой злых шуток и грубых насмешек и, одинокий, маленький, безропотный и глубоко несчастный, отчаянно цеплялся за единственного друга — скрипку и ждал того счастливого дня, когда мать приедет его навестить.

Уговорились, что она будет навещать его раз в месяц, большего она не могла себе позволить. На частые поездки не хватало денег, а поселиться поближе к школе ей не позволяло хрупкое здоровье. У нее только и было, что маленький домик в Шенклине и доход, едва достаточный, чтобы прожить и дать сыну приличное воспитание. Все, что ей удавалось сэкономить, урезая себя в каждой мелочи, или заработать, расписывая красками веера и каминные экраны, она откладывала для сына на будущее.

Когда она впервые приехала его навестить, через приемную как раз проходил Джек; он равнодушно оглянулся на вошедшую стройную женщину в трауре и услышал ее возглас:

— Тео!

Мимо него вихрем промчался ликующий мальчуган, и Джек круто повернулся и вышел, чтобы не видеть, как они целуются. В груди его закипала горькая злоба на этого любимчика несправедливых богов, которому дано все — и красота, и талант, и любящая мать.

«Молли на два года моложе этой восковой куклы, — думал Джек, — а ей приходится расти у дяди и за нее некому вступиться, кроме тети Сары».

Два дня спустя Джек сидел один на лужайке и читал. По другую сторону живой изгороди играли школьники, слышались крики и смех, но Джек не замечал их. Игра, которой там увлеклись, была не из тех, что развивают силу, а стало быть, его не занимала: он участвовал в играх не ради забавы, а для того, чтобы укреплять свои мускулы.

Неожиданно послышался жалобный вскрик:

— Я не понимаю, чего вы хотите! Мне... мне надо идти играть на скрипке.

Джек поднял голову. Неподалеку, возле калитки, ведущей на соседнюю площадку, рослый мальчик по фамилии Стабс схватил за руку Тео. Испуганное лицо малыша заставило Джека забыть о чтении. Он отложил книгу и стал присматриваться. Ни Стабс, ни Тео его не замечали.

— Не будь дурачком, — услышал Джек. — Ничего с тобой не делается...

Стабс сказал еще что-то так тихо, что Джек не расслышал, но понял по выражению его лица. Джеку мгновенно вспомнились Гривз, Томпсон, Роберт Полвил, и взгляд его стал холодным и недобрый. Вот тебе и опека любящей матери! Итак, боги все же справедливы и несут нам погибель всем поровну, любимым и нелюбимым; и невинность, слишком слабая, чтобы защищаться, неминуемо погибнет.

«Ты не знаешь, что все это значит, — думал Джек. — Ты чист, и мать приезжает и целует тебя. Но когда она приедет в следующий раз, ты уже не будешь таким чистым».

— Я не понимаю, чего вы хотите! — опять закричал Тео и, вырвав руку, помчался к калитке.

— Подумаешь, какой недотрога! — крикнул ему вслед Стабс. — А еще арестант!

Тео остановился как вкопанный, минуту молча смотрел на обидчика и вдруг разрыдался.

Джек встал и шагнул к изгороди. Будто тьма разорвалась у него перед глазами: он увидел лощину Треванны, и закат, и дрозда... Потом все померкло, расплылось, только гул стоял в ушах, и застлавший глаза туман прорезали молнии... он уперся коленями в грудь кому-то, кто корчился и задыхался, и обеими руками сжимал чье-то горло.

Через мгновение приступ бешеной ярости прошел. Джек увидел, что вокруг собралась толпа, — должно быть, мальчики сбежались отовсюду на вопли Стабса.

Трое валялись на земле, а четвертый — это был старшина — говорил обиженно, с трудом переводя дыхание:

— Однако, Реймонд, и кулаки же у тебя!

Джек растерянно огляделся: в стороне давился слезами и кашлем Стабс; еще у одного мальчишки шла кровь носом; тут же стоял бледный, перепуганный Тео. Джек сжал руками виски; голова все еще кружилась, и почему-то ему казалось, что он снова в Порткэррике.

— Я... извините.... — выговорил он наконец. — Я не сдержался...

Он медленно пошел прочь, понутив голову и едва волоча ноги. Мальчики озадаченно переглянулись.

— Хватит распускать нюни! — прикрикнул на Стабса старшина и обернулся к Тео: — А ты, юноша, беги за Реймондом, видишь, он забыл свою книгу, отдай ему.

Тео взял книгу и убежал, а старшина снова обернулся к Стабсу:

— Слушай, ты! Реймонд не вцепился бы тебе в глотку ни за что ни про что. В другой раз, если я тебя поймаю на том, что ты тиранишь маленьких, я сам тебе покажу где раки зимуют. А теперь убирайся, нам тут подлецы не нужны.

И Стабс смиренно поплелся прочь.

— Экая дрянь! — буркнул старшина.

После этого случая Джек заметил, что в школе к нему стали относиться по-другому. Прежде он был ко всему равнодушен и лишь теперь понял, что мальчики все, как один, терпеть не могут Стабса и не доверяют ему. Если учителя и прослышали что-нибудь о недавнем происшествии, они никак этого не показывали; но Джек понемногу стал замечать, что, неожиданно выступив на защиту Тео, он завоевал расположение остальных школьников, а малыш его просто боготворит.

Тео бегал за ним по пятам, как собачонка, и, всячески стараясь выразить свою восторженную привязанность, отчаянно смущал и сердил его. Ночная рубашка Джека всегда была заботливо расправлена и сложена, в башмаки вдернуты новые шнурки, в учебниках загнут уголок нужной страницы, а однажды за завтраком Джек обнаружил у своей тарелки букетик только что распустившихся первоцветов. Этого он уже не мог выдержать: он так беспощадно отчитал Тео, что старшины, отнюдь не склонные поощрять дружбу между младшими и старшими школьниками, на сей раз только пожали плечами, но не стали вмешиваться. Этот малыш просто глуп, как пробка, решили они, и Реймонд сам прекрасно с ним справится.

Но преданность Тео была сильней брани и насмешек.

— Дурья башка! — в сердцах ворчал Джек, стоило при нем упомянуть о Тео; но постепенно покорился, хоть и хмуро и неприветливо, и через некоторое время все привыкли считать его непременным защитником и покровителем Тео.

— Не дразни малыша, — говорил один школьник другому, — не то Реймонд свернет тебе шею.

А Тео, избавясь от преследований и обретя то главное, что было ему необходимо, как воздух, — божество, которому он мог поклоняться, и возможность спокойно играть на скрипке, — неожиданно расцвел и расправил крылышки; он даже усваивал понемногу школьный жаргон и обзавелся большущим складным ножом; хорошо еще, что нож был очень тугой, и Тео даже не мог своими тонкими пальцами его раскрыть.

В письмах к матери Тео не уставал восхвалять Джека. Она очень смутно представляла себе, из-за чего разыгралась драка со Стабсом, так как

Тео, по счастью, сам мало что понял и ничего не мог толком объяснить. Однако в следующий свой приезд она расспросила его подробно, и он повторил все, что сказал ему Стабс, в простоте душевной совершенно не понимая, что это значит. В тот же день доктор Кросс, войдя в класс, сказал Джеку:

— Подите вниз, Реймонд. Мать Мирского перед отъездом хочет с вами поговорить.

Джек хмуро повиновался. И без того все из рук вон плохо, а тут еще изволь выслушивать нравоучения матери этого неженки!

Елена Мирская сидела в приемной одна, уронив худые руки на колени. Когда Джек вошел, она посмотрела на него — и он замер на месте и опустил глаза, такая в нем всколыхнулась ревнивая ненависть к ее сыну. Какое право у Тео иметь такую мать, когда у других нет ничего и никого? «Никого, никого...» — с болезненным упорством твердил он про себя. В эту минуту, взглянув в лицо Елены Мирской, Джек впервые понял, до чего он одинок. Ее глаза были точно глубокая тихая вода в тенистых озерах Треваннской лощины.

— Вы — Джек? — спросила она. — Я так много слышала о вас от Тео; он только о вас и говорит.

— Он просто дурень, — вспыхнул Джек и весь покраснел.

Он отдал бы свои карманные деньги за целый год, лишь бы удрать. Он и сам не знал, отчего уже один вид этой женщины его злит; тихий голос с иностранным акцентом против его воли проникал в душу, почему-то напоминая Молли, и пену волн, плещущих о серые камни Утеса мертвеца, и чаек, кружащих над морем. По какому праву она явилась сюда и опять заставила его почувствовать, как он несчастен, едва он начал об этом забывать! Ей-то что за дело, у нее есть Тео.

— Он еще совсем ребенок, — сказала она, — и не понимает, от какой опасности вы его спасли. Я не могла уехать домой, не сказав, как я вам благодарна.

Джек стиснул зубы. Кончится это когда-нибудь? Она посмотрела на него серьезно и пытливо.

— Сначала я думала взять его из школы; но потом посоветовалась с доктором Кроссом, и он сказал, что вы все время были очень добры к моему мальчику и, вероятно, не откажетесь мне помочь. Вы разрешите поручить его вам? Доктор Кросс все объяснит старшинам, так что вам никто ничего не скажет, а я уверена, для Тео это самое лучшее. Старший товарищ, да еще такой, к которому он всей душой привязан, будет ему гораздо лучшей защитой, чем любой учитель; и я знаю, он будет вас

слушаться. Если вы присмотрите за ним, постараетесь, чтобы он не увидел и не услышал ничего такого, чего не следует знать ребенку, вы снимете с моей души тяжкий груз.

Она умолкла, дожидаясь ответа, и Джек поднял глаза. Он готов был расхохотаться над злой шуткой, которую сыграла с ним судьба. Ему вспомнились нож епископа, и те фотографии, и нависшая над ним угроза исправительного дома. Взгляды их встретились, он вдруг ощутил ком в горле и снова опустил глаза.

— Ладно, — сказал он охрипшим голосом, — присмотрю. Пока я здесь, с ним ничего худого не случится.

Она протянула ему руку.

— Спасибо, — сказала она и поднялась, но еще помедлила, глядя на Джека.

— Тео сказал, что этот Стабс, которого вы поколотили, назвал его арестантом. Это правда?

— Да.

— А вы знаете, почему?

Джек замаялся. Кое-что об отце Тео он, конечно, слышал.

— Нет, — сказал он. — Я... мало разговариваю с другими. И потом, это не мое дело.

— Читали вы что-нибудь о Польше?

— Я... нет, не помню.

— Наверно, Тео что-нибудь сказал, а его не так поняли. Он плохо помнит, что случилось, он был тогда совсем крошкой. Мой муж был политический ссыльный — вы знаете, что это значит? Он умер в Сибири. Тогда я увезла сына во Францию. Я всегда старалась не омрачать его детство тенью прошлого; он успеет обо всем узнать, когда вырастет.

Молчаливый, притихший пошел Джек в гимнастический зал. Елена Мирская и все ее слова были как бы из другого, незнакомого мира. Он только и знал, что она поговорила с ним и уехала, а он стал еще несчастнее, чем прежде. А она, дожидаясь поезда, опять и опять спрашивала себя: что гнетет этого мальчика, отчего он так несчастлив? Она видела его каких-нибудь десять минут и говорила с ним только о собственных заботах, — и, однако, она читала в его душе так ясно, как никогда не умели читать те, с кем он провел всю свою жизнь.

В гимнастическом зале Джек с обычным усердием принялся за упражнения с гирями; но мысли его на этот раз были далеко. Тео издали круглыми восторженными глазами смотрел, какие чудеса совершает его божество. Джек отвел руки за спину и ударил гирями друг о друга; от

резкого движения пуговица на вороте спортивной рубашки оторвалась, и когда Джек остановился, давая себе минутную передышку, и опустил руки, рубашка немного сползла с левого плеча.

— Какой у тебя странный шрам на плече, Реймонд, — сказал мальчик, стоявший позади него. — Что это, ожог?

Он хотел было оттянуть рубашку пониже — и с криком отпрянул: Джек обернулся, губы его побелели от бешенства, он замахнулся тяжелыми гирями.

— Не тронь! Убью!

Мальчики вокруг замерли и смотрели во все глаза, онемев от изумления. Потом раздался строгий голос учителя:

— Реймонд, опомнитесь! Реймонд!

Кто-то взял из рук Джека гири. Он послушно отдал их, спотыкаясь, добрел до ближайшей скамьи и сел. Опять это отвратительное головокружение, и искры перед глазами, и гул в ушах...

— Я нечаянно... — сказал он.

После урока учитель гимнастики отправился к доктору Кроссу и рассказал ему о случившемся. Позвали Джека, он вошел в кабинет директора мрачный, злой, готовый к худшему.

— Вот что, мой друг, мать Мирского сказала мне, что вы обещали присмотреть за ее сыном и побережь его, — начал доктор Кросс. — Я ей сказал, что, по моему мнению, лучшего друга для ее мальчика не найти. Вы уже сделали для него много хорошего; я сейчас говорил об этом со старшинами. Вы славный малый, только не мешало бы получше держать себя в руках. Кстати, если вам случится с кем-нибудь повздорить, можете решать спор и на сырой, испытанный лад — кулаками, никто не будет против, если дело не зайдет слишком далеко; но чугунными гирями грозить товарищам все же не стоит, в нашем отечестве это как-то не принято.

— Слушаю, сэр, — покорно ответил Джек.

В коридоре маленькая ручонка сжала его руку.

— Джек, — шепнул Тео, глядя на него снизу вверх кроткими глазами, точно такими же, как у матери, — что с тобой случилось? Ты весь дрожишь.

Джек замер на месте, маленькая рука так ласково сжимала его пальцы, словно утешала. Потом он грубо вырвал руку.

— Что, что! Отстали бы вы все от меня, так ничего бы и не было!

Он ушел, оттолкнув Тео, и весь вечер лицо у него было мрачное, угрюмое и вызывающее. А глубокой ночью, когда и мальчики и учителя давно уже спали, он все лежал без сна, терзаясь неотвязными горькими мыслями. Прежде ему казалось, что он понемногу привыкает и начинает

забывать; но нет, безнадежно: столько месяцев прошло, а он так же несчастен, как и прежде. Вдруг он будет мучиться всю жизнь и никогда не привыкнет? Очень может быть. Эти шрамы останутся навсегда, так разве изгладятся воспоминания?

Не сразу бессонные ночи заставили побледнеть смуглое лицо Джека. Крепкий и сильный, он отличался отменным здоровьем — и даже заболел он всерьез, это было бы не так заметно, как у любого другого мальчика. Но он был не болен, а всего лишь очень несчастен. Однако время шло, он бледнел и худел, и в глазах его постепенно вновь появилось то самое выражение, с каким он смотрел в августе прошлого года. Наконец директор встревожился и повел Джека к врачу: тот выслушал мальчика, пристально и с недоумением к нему приглядываясь, и наконец спросил:

— Ты чем-нибудь огорчен?

— Нет, сэр, — безучастно ответил Джек.

Врач пришел к заключению, что у пациента «небольшой упадок сил», и прописал укрепляющее, которое, разумеется, не помогло.

— Хотел бы я знать, что с этим Реймондом, — говорил доктор Кросс учителю математики. — Может быть, это хандра?

— Не думаю; он, по-моему, слишком флегматичен, чтобы хандрить. Но как знать, может быть, он тоскует по дому.

А между тем каждую ночь Джек проходил через все муки ада.

Днем было еще не так тяжело: отвлекали уроки, игры, вокруг шумели товарищи. Джека все это мало занимало, однако время и пространство были заполнены и больше ни для чего не оставалось места. И все же порой даже в разгар игры в крикет или футбол от одной мысли, что скоро снова ночь, сердце его больно сжималось. Вечером, когда мальчики сходились в дортуаре, Джек, буркнув «спокойной ночи», с каменным лицом забирался в постель, укрывался с головой, и, пока другие раздевались, лежал не шевелясь и ровно дыша. Он боялся сойти с ума, если увидит белые, гладкие, не изуродованные шрамами плечи всех этих счастливицев. Они прозвали его сурком и вечно потешались над тем, что он первым засыпает и последним просыпается. А когда свет гасили и смолкало перешептыванье, он садился на кровати и во тьме одиноко боролся с демонами, беспомощный и бессильный против целой орды призраков, и, закусив простыню, учился рыдать беззвучно, чтобы никто не услышал.

Подчас его и самого изумляло, что у несчастья столько разных обликов, — и можно узнать их все и все-таки не умереть. Были ночи страха, когда его постель осаждали фурии.. Он засыпал спокойно, как и все,

и вдруг просыпался, весь дрожа: ему чудилось, что он опять в Порткэррике, зубы его стучали, на лбу проступал холодный пот, и волосы вставали дыбом. Были ночи ярости, когда он сжимал кулаки и скрипел зубами от ненависти к неведомому богу, который создал мир таким несправедливым, а людей такими несчастными. Были ночи отчаянья, когда он только и мог безнадежно и горько рыдать, пока не начинала разламываться голова, глаза жгло и судорога стискивала горло, не давая дышать. Были ночи отвращения и ужаса, когда его преследовали гнусные видения и во тьме, куда бы он ни повернулся, светились те проклятые фотографии. Но хуже всего были ночи стыда. Самой мучительной пыткой было смотреть на спящих товарищей. Днем Джек то завидовал им, то презирал их; ночью он их стыдился. Сидя на кровати, он смотрел на длинные ряды спящих и прислушивался к их спокойному дыханию. Иногда кто-нибудь со вздохом поворачивался на другой бок или, взмахнув рукой, ронял ее поверх одеяла; и вид ее ранил Джека, как ножом. Все они казались ему такими красивыми, такими нестерпимо белыми и чистыми, — разве место ему среди них? Их не преследуют кошмары, тайные страхи, им не надо скрывать позорные шрамы; никто не протащил их по всем закоулкам ада и не осквернил страшным знанием мерзости человеческой... Потом Джек снова зарывался лицом в подушку и твердил себе: надо привыкать, что было, того не изменишь, тело его побывало в грязи — и прежней чистоты больше не вернуть.

До пасхальных каникул оставались считанные дни, и вся школа уже заранее волновалась и радовалась. Джек думал о предстоящей поре тишины и одиночества то с облегчением, то с ужасом. Вдруг его поразила мысль, что через каких-нибудь четыре месяца настанут летние каникулы, и тогда придется поехать домой. Раньше это ему как-то не приходило в голову.

Теперь этот новый ужас завладел им, вытеснив все другие горести. Страх преследовал его целые дни напролет, душил по ночам. «Четыре месяца, — снова и снова твердил он себе, — четыре месяца!» За эти четыре месяца надо на что-то решиться, придумать какой-то план. Сбежать, утопиться, ускользнуть — все равно как. Только не возвращаться в Порткэррик — или он сойдет с ума!

— Реймонд, — сказал доктор Кросс в последний понедельник четверти, — вы помните, было условлено, что на пасху вы останетесь здесь? Но это, оказывается, невозможно, я совсем упустил из виду весеннюю генеральную уборку. Я написал вашему дяде, просил его взять вас домой, и он телеграфировал, что ждет вас в субботу. Я очень рад, мне

кажется, вам полезно будет порезвиться на воле.

Весеннюю уборку доктор Кросс выдумал по доброте душевной, уверенный, что мальчик истосковался по дому.

Джек вышел на лужайку для игр, лицо его окаменело. Четырех месяцев спасительной отсрочки как не бывало, надо сейчас же что-то решать. Он шел, сам не зная куда, опустив глаза, и думал.

Надо бежать. А вдруг поймают и насильно отправят домой? И не так-то просто бежать, когда нет ни денег, ни друга, у которого можно укрыться; надо столько думать, хитрить, рассчитывать каждый шаг, а он слишком устал. Но есть один выход, простой и надежный, не требующий никаких хлопот.

Он прошел к пруду в дальнем конце луга. Глубокая вода неподвижно чернела среди берегов, поросших еще голыми спутанными стеблями ежевики и покрытых размокшими останками прошлогоднего камыша. Джек кинул камень в самую середину пруда и долго смотрел, как замирает рябь расходящихся кругов; потом пополз по стволу дерева, низко нависшего над водой, и заглянул в глубину. Да, это будет совсем не трудно.

И тут им овладел страх смерти. Он зажмурился, чтобы не видеть воды, и изо всех сил обхватил руками ствол дерева. «Не могу! — взмолился он тому неведомому, что словно надвинулось сзади и толкало его в пруд. — Ох, не могу! Не могу! Не могу!»

Наконец, он опять ощутил под ногами твердую почву и открыл глаза. Если бы у него достало храбрости только на одну минуту, теперь уже все было бы кончено; но он трусил. Все униженные — трусы: где-то когда-то он это вычитал. У него не хватило смелости ни утопиться, ни бежать, — значит, надо покориться, трусы всегда вынуждены покоряться. Надо вернуться в Порткэррик и опять увидеть дровяной сарай, лицо дяди и лестницу, по которой они тогда поднялись. Наверно, его опять поселят в той же комнате, и придется проводить в ней долгие ночи, и видеть, как светает, как встает солнце, и сгорать от стыда, когда оно озарит своими лучами то место, где его привязывали, как собаку...

— Реймонд? Да что с тобой, мальчик? — послышался голос.

Джек протянул руки.

— Я... мне нехорошо.

Доктор Кросс взял его за локоть.

— Идем-ка домой, — сказал он, — и ложись в постель.

В дортуаре было тихо и прохладно. Джек вытянулся на постели, директор принес ему стакан воды.

— А ну, покажи язык. Нет, все в порядке; и жара у тебя нет...

— Я здоров, просто голова закружилась.

Доктор Кросс постоял минуту-другую, глядя на него.

— Я вот думаю, может быть, ты скучаешь, потому что никогда раньше не уезжал из дому? Помню, когда я мальчишкой попал в школу, мне вначале тоже было не по себе.

Джек стиснул зубы. Неужели его никогда не оставят в покое! Какое им дело? Он ведь не скулит, не жалуется; он никогда ни на что не жаловался. Он как-нибудь вытерпит, только бы его оставили в покое.

— В новой четверти ты будешь чувствовать себя лучше, — сказал доктор Кросс. — Пока тебе еще, наверно, кажется, что ты тут чужой, но скоро ты привыкнешь и освоишься.

Джек не сразу собрался с силами, чтобы ответить.

— Да, да, — сказал он, — я привыкну.

Зазвенел звонок, и Джек приподнял голову. Доктор Кросс легонько толкнул его обратно на подушку.

— Нет, лучше полежи немного и попробуй уснуть.

Наконец-то дверь затворилась за ним. Джек поднес к губам левую руку и так впился в нее зубами, что из-под сомкнутых век потекли слезы; потом крепко прижал глаза ладонью в надежде, что разноцветные круги и пятна заслонят от него иные образы. На смуглой коже двумя лиловыми полумесяцами проступили следы зубов.

ГЛАВА VIII

— Реймонд! — закричал Тео, вихрем врываясь в класс. — Мама приехала!

Джек ниже склонился над алгеброй.

— Тише ты, балаболка! Не видишь, я готовлю уроки.

— Ну и что? Все равно нечего на меня рычать, как собака! — Тео теперь много лучше владел английским, и своеобразная изысканность его речи исчезла вместе с золотыми кудрями. — Я только пришел сказать, что мама хочет тебя видеть.

— А, черт! — Джек в сердцах отбросил учебник. Он вышел в приемную с лицом нарочито замкнутым и равнодушным, точно маска. Елена встретила его глубоким, серьезным, полным сочувствия взглядом.

— Джек, — начала она, — мы с Тео хотим пригласить вас на весенние каникулы к нам на остров Уайт. Поедемте?

Джек попятился, медленно поднял глаза и посмотрел на нее. Что толку играть роль? Он может обмануть кого угодно, но не ее; она видела его насквозь с первой минуты.

— Зачем я вам?

Она улыбнулась.

— Да прежде всего затем, что мы вас любим.

— Поедем, ну, пожалуйста! — вмешался Тео. — Ты научишь меня грести и...

— Зачем я вам? — настойчиво повторил Джек.

Он подошел чуть ближе и посмотрел на нее в упор. Ему безумно хотелось расхохотаться. Что, если она когда-нибудь встретится с его дядей, с мистером Хьюитом или доктором Дженкинсом и услышит о том, что произошло минувшим летом? Вот взять сейчас и все ей рассказать. Посмотрим, пригласит ли она его тогда! Все в нем дрожало от ужасного затаенного смеха при одной мысли, как она схватит свое дорогое дитяtko — и только ее и видели! Он уже знал: есть на свете подозрения, которые пристают, как смола, — будь ты трижды невиновен, от них ничем не очистишься.

Елена подошла и положила руку ему на плечо. Что ж, ладно, он солжет и притворится, как последний негодяй, но это спасет его от Порткэррика. И раз уж он такой мерзкий трус, что не сумел спастись иначе...

— Да я, пожалуй, не прочь, — сказал он, — только бы дядя отпустил.

Елена прожила в деревенской гостинице до самых каникул, и всякий раз при встрече Джек со стыдом опускал глаза под ее ласковым и сочувственным взглядом. «Это не лучше оплеухи», — думал он. Но какое у него теперь право обращать внимание на пощечины — лишь бы только били не слишком больно! Он жил в ежечасном страхе: вдруг викарий запретит ему принять приглашение, да еще сочтет нужным объяснить доктору Кроссу причину... Но мистер Реймонд не стал чинить никаких препятствий: он был признателен за любое предложение, лишь бы племянник не приезжал в Порткэррик и не отравлял самый воздух своим тлетворным дыханием. Для очистки совести он написал Джеку пространное письмо, торжественно увещевая его не употребить во зло доброту его новых друзей. Дочитав письмо до конца, Джек швырнул его в огонь и отправился с Еленой и Тео в Саутгемптон. «Подлый негодяй! — думал он. — Верит всей мерзости обо мне — и все-таки разрешает ехать! Да и я хорош!»

Всю дорогу до Шенклина он уговаривал себя, что будет наслаждаться всеми радостями, какие пошлют ему боги, и ни о чем не станет думать, пока не кончатся каникулы. Теперь ему целых четыре месяца ничто не грозит, и уж, конечно, он может себе позволить три счастливых недели. Ведь другие живут счастливо многие годы... В первые дни он был так шумно весел, что утомлял всех в доме; но однажды, вернувшись с моря, он застал Тео с Еленой в саду: мальчик растянулся в траве, под большим кустом «золотого дождя», положив голову на колени матери, и читал ей вслух. Она обвила одной рукой его шею, а другой перебирала его волосы. В эту ночь Джек рыдал так, что ему стало дурно и закружилась голова. Ох, как все это несправедливо, несправедливо, несправедливо!

Спустя неделю приехал новый гость, старый и седой. Елену он звал просто по имени, а Тео называл его «дядя Конрад». Впрочем, оказалось, что он им не родня, а просто старый друг семьи и вместе с мужем Елены сидел в тюрьме. За свои крамольные взгляды он несколько лет провел в крепости в России, потом поселился в Париже; теперь он — известный музыкальный критик, и с его мнением очень считаются. Он строго проверил познания Тео в гармонии и усмотрел столько погрешностей в его игре на скрипке, что малыш, когда его наконец отпустили, убежал в сад и расплакался; там и нашел его Джек.

— Это свинство! — рыдал Тео. — Все английские учителя — остолопы, ничего они в музыке не смыслят. Они говорили, что я делаю успехи, а дядя Конрад меня только бранит! Я слишком крепко держу смычок, и мажу, и никуда не гожусь!

— А может, он сам остолоп, — подсказал Джек, не зная, как утешить мальчика.

Тео резко выпрямился и посмотрел на него во все глаза, потрясенный таким кощунством.

— Да что ты, Джек! Дядя Конрад все знает о музыке. Я и сам понимаю, он прав, я сегодня играл, как сапожник. Ничего из меня не выйдет, никогда я не буду играть, как Иоахим^[8]... никогда, никогда!

Он был в таком отчаянии, что Джек никак не мог его успокоить и наконец побежал на веранду за Еленой. Стеклянная дверь гостиной была открыта. Джек подошел и увидел в комнате Елену и Конрада, они серьезно говорили о чем-то на своем родном языке. Он не мог понять их, но невольно отступил, увидев выражение ее лица.

— Елена, — говорил старик, — ведь это тоже призвание! Кто может сказать, что оно менее священно? Я не говорил так, пока не уверился окончательно; в прошлом году я сказал только, что ребенок талантлив. Теперь я утверждаю, что он гений.

— Если это его призвание, говорить больше не о чем, — медленно сказала Елена. — Он должен идти своей дорогой. Но я надеялась...

И вдруг подняла глаза к картине, висевшей на стене, — Джек уже не раз спрашивал себя, что она может означать. Это была большая фотография скульптурной группы: гигантская статуя сидящей женщины в изорванных одеждах, руки у нее в оковах, а у ног — поверженные, умирающие люди.

— Господи, помоги мне! — сказала Елена и закрыла лицо руками.

Джек неслышно отошел. Он понял только одно: она несчастна; это заставило его призадуматься, ведь до сих пор ему не приходило в голову, что он не единственный в мире, кого мучит тайное горе.

Перед тем как возвратиться в Париж, Конрад еще раз придирчиво проэкзаменовал Тео, на все лады проверяя его слух. В последний вечер, когда все они сидели в саду на лужайке, он заставил мальчика прислушаться к пению разных птиц: каждая поет на свой лад и у каждой свой ритм.

— Помни, Тео, когда ты откладываешь скрипку и идешь гулять, ты все равно продолжаешь учиться музыке; каждая птица может тебя чему-нибудь научить. Самым лучшим моим учителем был ручной жаворонок.

— Полно, Конрад! — сказала Елена. — Неужели вы держали жаворонка в клетке!

Старик засмеялся.

— Нас обоих держали в одной клетке. Это было в московской тюрьме; во дворе на прогулке я подобрал птицу со сломанным крылом, и мне

позволили оставить ее в камере. К тому времени, как крыло зажило, жаворонок был уже почти совсем ручной.

— И он остался у вас? — спросил Тео.

— Нет, улетел — счастливец!

Джек, казалось, не слушал; по обыкновению всех мальчишек, он вырезал на коре дерева свое имя. Но не докончил и, как всегда порывистый и неловкий, неожиданно вскопчил:

— Пойду погляжу кроликов.

И пошел вразвалку, руки в карманах, пронзительно насвистывая: «Сказал святоше старому святоша молодой...» В последнее время он, всем на беду, пристрастился к шуточным песенкам, хотя слуха у него не было никакого и он отчаянно перевирал любой мотив.

— Джек! — закричал Тео, бросаясь вдогонку. — Ты фальшивишь, тут фа дизез!

— Грубоватый паренек, странно, что Тео так к нему привязался, — заметил Конрад, когда мальчики отошли подальше.

— Да, пожалуй, — рассеянно отозвалась Елена. Бегом вернулся Тео.

— Мапочка, Джек зол, как собака.

— Разве?

— Да, я хотел пойти с ним посмотреть кроликов, а он послал меня к черту.

— Не ябедничай, — сказал Конрад. Елена поднялась, встревоженная.

— Куда он пошел?

— В дом. Ты его пока не тронь, мамочка. Он и в школе бывал такой, на него накатывает. Это скоро пройдет.

— Поди покажи дяде Конраду кроликов, — только и сказала Елена и пошла в дом.

У комнаты Джека она остановилась и прислушалась. Из-за двери донесся заглушённый звук, который ей уже случалось слышать по ночам. Елена осторожно отворила дверь.

Джек лежал ничком на кровати, вцепившись обеими руками в подушку, и, изо всех сил стараясь сдержаться, негромко, отчаянно, не по-детски рыдал. Елена подошла и накрыла его руку своей.

— Что с вами, Джек?

Он не вырвался, не вскрикнул, только весь сжался и, дрожа, затаил дыхание. Через минуту он поднялся и сел, глаза его были совершенно сухи.

— Ничего.

Елена села на кровать и обняла его.

— Почему вы не хотите мне сказать? Я знаю, вы часто не спите по

ночам, ведь у меня в комнате все слышно.

Джек закусил губу.

— Да говорить-то нечего, спасибо. Я был не в своей тарелке, а Тео, дурень такой, привязался не ко времени.

— А я ничем не могу помочь? В вашем возрасте не под силу таить горе про себя. Если не можете довериться мне, так неужели вам не с кем поделиться?

— Тут и делиться нечем. Просто случилась одна вещь... когда я еще не был в этой школе.

— В прошлом году? А ваши родные ничего не знают?

Джек засмеялся.

— Весь Порткэррик знает. Поэтому меня и отпустили в школу.

Елена притянула его к себе.

— Может быть, ты все же мне расскажешь?

Джек не смотрел на нее; он дышал быстро, прерывисто.

— Спросите Дженкинса, — глухо вымолвил он наконец. — Он вам все расскажет.

— Кто это Дженкинс?

— Новый доктор в Порткэррике. Они с доктором Уильямсом приходили, когда я сломал руку, и он тоже все у меня выпытывал, совсем как вы. Я ему сказал: чем болтать про то, как ему меня жалко, лучше бы он помог мне уехать. Но он не так уж меня жалел, чтобы выручить.

Елена помолчала в раздумье.

— Можно, я напишу доктору Дженкинсу и спрошу его, что случилось? Пойми, не могу я смотреть спокойно, как ты мучаешься, ведь ты был так добр к моему Тео.

Джек вырвался и отошел к окну. Через минуту он обернулся — брови сдвинулись, лицо исказила злобная гримаса, губы побелели. Таким Елена видела его впервые.

— Ладно, — сказал он, — можете ему написать: Порткэррик, Горный домик, доктору Дженкинсу. Напишите, что я не против, пускай расскажет вам про меня все, что знает. Тогда вы, верно, не захотите, чтоб я был добр к вашему Тео. Да мне все равно.

Он вышел, засунув руки в карманы, и тяжелыми шагами спустился с лестницы, насвистывая, по обыкновению, фальшиво:

Сказал святоше старому святоша молодой...

Ни он, ни Елена больше не упоминали об этом разговоре. Она написала доктору Дженкинсу, объяснила, что ее тревожит, и стала ждать. В последний день каникул пришел ответ из Порткэррика. Елена поспешно сунула пухлый конверт в карман, чтобы Джек не увидел почтового штемпеля, и после завтрака ушла к себе. Доктор Дженкинс подробно изложил все, что знал, вернее, то, что видел сам и что слышал от викария, от школьного учителя и от миссис Реймонд. Под конец он серьезно предостерегал Елену от опасностей, которыми грозит ее сыну дружба с Джеком.

«Я лечил мальчика во время его болезни и пытался поговорить с ним по душам, — заключал доктор Дженкинс, — но все мои усилия ни к чему не привели. На мой взгляд, это удивительно недобрая, упрямая, мстительная и скрытная натура; в самом деле, еще до того, как вышла наружу эта злосчастная история, он успел завоевать чрезвычайно дурную славу во всей округе, хотя ему едва минуло четырнадцать. Впрочем, я отнюдь не оправдываю этим действий мистера Реймонда; в его постоянном жестоком обращении я вижу первопричину всех проступков мальчика и склонен считать, что нравственная гибель племянника на его совести. Быть может, я несправедлив, но я всегда подозревал, что и рука была сломана не без его участия».

Елена опять и опять перечитывала это письмо; она отослала мальчиков побродить по дальним полям и могла поразмыслить на свободе. Под вечер, после чая, когда Тео в столовой упражнялся на скрипке, Елена стала искать Джека, но в доме его не было. Она вернулась в крохотную гостиную и прошла на веранду. Из сада донесся стук молотка, и, поглядев в ту сторону, она увидела Джека: он чинил крышу беседки. Он весь ушел в работу и очень ловко орудовал инструментами. Похоже, что из него вышел бы недурной плотник.

— Джек! — помедлив, окликнула Елена.

Он оглянулся.

— Что?

— Может быть, спустишься на минуту?

— Придется, — проворчал он себе под нос и с поразительной легкостью спрыгнул с беседки наземь. Хотя его манеры и оставляли желать лучшего, зато он был замечательно ловок и силен.

Он взбежал по ступенькам веранды и ввалился в комнату с неуклюжестью юного дикаря, громко хлопнув стеклянной дверью и оставляя на ковре грязные следы.

— Чего?

— Присядь, мне надо поговорить с тобой.

— А... — сказал Джек и неловко сел на кончик стула. — Я думал, надо еще что сделать.

Минуту-другую Елена молча смотрела в огонь камина; Джек сгорбился на стуле, угрюмо насупился и выстукивал каблуками припев все той же неизменной песенки:

Сказал святоше старому святоша молодой...

— Помнишь, — начала Елена, не отводя глаз от пылающих углей, — ты разрешил мне написать доктору Дженкинсу?

Джек выпрямился на стуле и застыл. Стук каблуков замер.

— Так вот, я написала. И сегодня утром получила ответ.

Он громко перевел дыхание, это было почти как стон. Елена все не поворачивала головы.

— Он рассказал мне все, что знает.

И опять минутная тишина, слышится только неровное дыхание Джека.

— Где письмо?

— Здесь, но мне не хотелось бы, чтобы ты его читал.

Он поднялся и шагнул к ней.

— Дайте письмо.

Только теперь Елена посмотрела на него. Черные глаза сверкали — такими их видел викарий в дровяном сарае.

— Дайте письмо.

— Мальчик мой, я дам тебе письмо, если ты настаиваешь, но мне бы очень, очень не хотелось. Да и зачем, ты ведь знаешь, что в нем сказано.

— Дайте письмо.

Елена молча протянула ему конверт. Джек отошел к окну, сел и прочитал все от начала до конца. Елена не сводила с него глаз: лицо его осунулось, побледнело, у рта пролегли глубокие складки, и ей вспомнились «подменыши» из сказок — несчастные заколдованные маленькие старички, которым уже ничто не вернет утраченного детства.

Наконец Джек подошел и положил письмо на край стола.

— Так, — сказал он. — Дальше что будет?

Елена не ответила. Весь дрожа, он подошел еще на шаг.

— Добились своего? Я в ваши дела не совался. Дженкинс подлец, что рассказал вам.

Глаза его были, точно пылающие угли.

— Я же знал, не захотите вы, чтоб я околачивался вокруг вашего ненаглядного деточки и портил его! Теперь вы все знаете: я играл в карты, и врал, и каких только гадостей не делал, и учил малышей всякой мерзости, и меня за это чуть не убили, и уж лучше убили бы сразу! Что вам еще надо знать?

Елена встала и положила руку ему на плечо.

— Только одно, мой мальчик: обращался с тобой хоть кто-нибудь, как с человеком? Поверил тебе кто-нибудь хоть раз в жизни?

Он вывернулся из-под ее руки и, тяжело дыша, страшно бледный, посмотрел на нее в упор.

— Вы... вы бы поверили?

— Мне тебя и спрашивать не надо.

Джек все еще не понимал. Он взялся рукой за горло, пальцы его дрожали.

— А если я скажу... что это все ложь... с начала до конца? Если скажу... я потому не сознавался... потому что... не в чем было... потому что...

Елена порывисто обняла его.

— Милый, ничего не надо говорить, я и так знаю!

Джек рыдал — тяжело, глухо, без слез, как взрослый.

Потом они сидели у камина — Елена в низком кресле, Джек на коврике у ее ног, — и смотрели на рдеющие уголья, и она узнала историю дрозда — по крайней мере то небольшое, что Джек сумел выразить словами. Он рассказывал спокойно, без слез, только снова и снова умолкал, собираясь с силами, — так рассказывали о себе люди там, далеко, в Сибири.

Если бы не Сибирь, она тоже, как доктор Дженкинс, вероятно, не поняла бы Джека. Но она долго жила за пределами человеческого милосердия, и ее глазам открылись обнаженные язвы нашего мира. Много месяцев провела она среди преступников, идиотов и безумцев, когда отправлялась в ссылку, долгие годы жила окруженная вырожденками, в краю, где век за веком, как в сточной яме, оседали всевозможные подонки, и эти годы многому ее научили. Порок викария Реймонда не был для нее ужасной неожиданностью: она видела его в самых разных обликах, от страшных детей, которые, злорадно хихикая, жгут на костре живую белку, и до остервенелых убийц, что, перерезав горло своей жертве, с окровавленными руками предаются чудовищным оргиям.

Джек кончил свой рассказ, и некоторое время оба молчали. В комнате становилось темно. Елена ласково гладила лежавшую у нее на коленях черноволосую голову.

— Скажи мне еще одно, сын. Для чего ты тогда вылез из окна? Хотел убежать и уйти на корабле в море?

— Не в море, только добраться до утеса. Я больше не мог.

В голосе его, угасшем, безжизненном, не было ничего детского.

— Но Дженкинс ошибается, — прибавил он. — Про руку дядя и не знал. Уж я постарался, чтоб он не узнал.

Елена крепче сжала его пальцы.

— Зачем?

— Понимаете, я не мог его убить, я раз попробовал, но не вышло. И я решил — пускай тогда он меня убьет, и его повесят.

Елена наклонилась и поцеловала его. Сумерки все сгущались; угли в камине потемнели, под пеплом едва проступал багровый отсвет.

— И поэтому все это чепуха, — вдруг начал Джек и умолк. Рука Елены по-прежнему лежала у него на плече.

— Что, милый?

— Да вот, что вы нянчитесь со мной, хлопчете, будто я — Тео. Ну, понятно, я пригляжу за мальчишкой, и постараюсь сделать его человеком, и никому не дам в обиду — уж больно он хлипкий. А что он набивается мне в друзья, так это смех, да и только.

— Тео еще ребенок и... и ему пока не пришлось побывать в аду. Когда он станет взрослым, придет и его черед. Но я, мне кажется, тебя понимаю.

Джек внезапно расхохотался.

— Вы?! — переспросил он. — Чушь!

Голос его прозвучал устало и холодно, в темноте могло показаться, что это говорит старик.

Он вырвался от нее и стал мешать кочергой последние едва тлеющие угольки.

— По-вашему, раз вы повидали тюрьмы и всякое... Да что вы знаете? Вы чистая. Может, ваших родных и расстреливали, и вешали, и все такое, но их не связывали и не...

Она закрыла ему рот рукой.

— Молчи! Ты пострадал за то, что вернул живому существу свободу, а отец Тео умер за то, чтобы вернуть свободу людям. Так разве ты мне не сын?

Назавтра рано утром, когда Джек, угрюмый и неловкий, пришел к Елене проститься, она встретила его так весело и просто, словно новые отношения связывали их не первый год.

— Итак, если твои родные не станут возражать, ты будешь все

каникулы проводить здесь. Я съезжу в Корнуэлл, повидаясь с ними и попробую все уладить. Может быть, они позволят мне совсем тебя усыновить. Теперь насчет карманных денег — разумеется, вы с Тео все поделите на двоих, я буду давать побольше. Доходы у меня очень скромные, придется нам немножко себя урезать, пока мои сыновья не вырастут и не начнут зарабатывать сами.

Джек хмуро пробормотал что-то о том, какое свинство, что до двадцати одного года еще столько ждать. Он боялся снова потерять власть над собой, а потому речь его была отрывистой и не слишком вежливой. Со слезами на глазах Елена его поцеловала.

— И присмотри за Тео. С тех пор как я осталась одна, я всегда в тревоге за него, мне ведь не на кого опереться. Когда он вырастет, он будет музыкантом, а люди искусства так редко бывают счастливы. Но теперь я спокойна, у меня есть ты, а ты не обижаешь певчих птиц. Да хранит тебя бог, мой новый сын!

Больше об истории с дроздом не вспоминали.

ГЛАВА IX

Тот год, когда Джек достиг совершеннолетия, был для него годом испытаний. Он вырос и вступил в жизнь — это всегда не просто, а для него оказалось мучительно тяжело.

Он изучал в Лондоне медицину, и те профессора, что были понаблюдательнее, начинали с интересом к нему присматриваться. Когда он увлекался настолько, что забывал с таким трудом выработанную в себе педантичность и непомерную добросовестность, которая зачастую ему только мешала, он поражал неожиданной в его годы смелостью мысли и уверенной проницательностью. Не однажды в анатомическом театре профессор, удивленный его вопросами, вскинув голову, быстро переспрашивал. «Как вы до этого додумались?» Но подобные озарения никогда не выручали его на экзаменах. Тут он снова становился туповатым и послушным учеником, каким его знал когда-то доктор Кросс. Он был слишком упорный и старательный труженик, чтобы провалиться, но выдерживал экзамены как самая заурядная посредственность, благодаря одному лишь усердию, и ни разу не обнаружил тех особенностей своей природы, которые делали его прирожденным врачом.

Заветная мечта Джека, которой он поделился с одной лишь Еленой, да и то сдержанно, намеками, была — стать настоящим специалистом по детским болезням. Он даже в мыслях, для себя не определял ясно и отчетливо эту цель всей своей жизни; но глубоко под мучительной застенчивостью скрывалась твердая вера в свое призвание; словно в награду за эту верность мечте он вправе ждать от богов ее исполнения. Безмолвно, почти бессознательно он требовал этого от них — не с гневом и укором, но как должное и оплаченное сполна. Нет, хоть раз они будут справедливы и не откажут ему в том, что бесспорно ему принадлежит. В самом деле, он покорно сносил проклятие своего детства, он не возмутился против их власти и не пал мертвым под непосильным бременем, так разве не справедливо, чтобы боги вознаградили его особым даром постигать все горести и страдания детей, особым правом помогать и исцелять. Ведь если бы доктор Дженкинс тогда понял...

В остальном детство наложило на Джека меньший отпечаток, чем того боялась Елена. Следы пережитого заметны были разве что в трезвости суждений, в преждевременной зрелости ума и крайней сдержанности и скромности. Но горечь и озлобление изгладились из его души, а на это она

раньше и надеяться не смела; и хоть он по-прежнему казался много старше своих лет, но несравненно моложе, чем был в четырнадцать.

Джек даже с нею почти не говорил о Молли, и Елена часто горевала о его замкнутости, опасаясь, что за этим молчанием скрываются неотвязные горькие мысли. Но как ни хорошо она его понимала, в этом она ошибалась. Джек приучил себя не тратить сил на бесплодные сожаления: силы пригодятся, когда надо будет действовать. Он не просто жаждал выручить сестру, он твердо решил этого добиться: надо окончательно стать на ноги, тогда он сможет протянуть руку помощи и ей; а пока он бессилён помочь, лучше отгонять даже мысль о ней, беззащитной во власти врага, иначе он не сумеет сосредоточиться на своей работе. Он не видел Молли уже семь лет, знал только, что ее отдали в школу в Труро; а теперь ей уже шестнадцать, она стала высокая и считается совсем взрослой.

«Будущим летом она совсем вернется домой и будет помогать в делах прихода, — писала ему на рождество тетя Сара. — Ведь я уже не так бодр, как прежде, а твой дядя в сырую погоду мучается ревматизмом. Молли вздумала было учиться на сестру милосердия; но дядя решил, что дома она принесет больше пользы и избежит соблазнов, так что она теперь об этом уже не заговаривает. Она всегда была очень хорошей, послушной девочкой, и дядя ею доволен».

Поздравительные письма к рождеству, одно от тети Сары, другое от самой Молли, были в эти семь лет единственным связующим звеном между Джеком и его прошлым; да еще, как было условлено с самого начала, каждые три месяца он посылал викарию сухой отчет о своих успехах в ученье, — и в ответ получал чек на довольно жалкую сумму и длинейшее письмо со множеством здравых советов и весьма благочестивых наставлений. Нравоучения дяди мало трогали Джека; зато деньги эти были самой черной тенью, омрачавшей его юность, — тенью, о которой Елена не осмеливалась упоминать, ибо не в ее силах было его от этой тени избавить. Только однажды, на пасху, — Джеку минуло тогда шестнадцать лет, — взглянув ему в лицо, когда он молча положил возле нее чек, Елена не выдержала. Исхудалой рукой она коснулась его щеки и сказала:

— Милый, тебе вовсе незачем больше его видеть, хотя бы пока не станешь взрослым.

— Мне приходится есть его хлеб, — не сразу, сквозь зубы ответил Джек. — Бродячие кошки на улице счастливее меня, они не знают, кто швырнул им объедки.

Когда он вернулся в школу, Елена, хотя здоровье ее слабело, а дорога была нелегкая, снова поехала в Порт-кэррик просить, чтобы ей позволили

усыновить мальчика, — в прошлый раз викарий на это не согласился.

— Я вполне могу его содержать, пока он не начнет зарабатывать сам, — убеждала она. — Все стало бы гораздо проще. Ведь вы не против того, чтобы он жил у меня, зачем же вам платить за его учение? Мне отдана его привязанность, и будет только справедливо, чтобы я несла все расходы. Это такая ничтожная плата за все хорошее, что он сделал для моего родного сына. И сам он станет счастливее.

Губы викария сжались плотнее, но больше он ничем не выдал, что оскорблен словами Елены.

— Дело не в счастье Джека, а в том, что правильно и что неправильно, — сказал он. — Сын моего покойного брата имеет право на то, чтобы я его кормил и одевал и дал ему приличное, истинно христианское воспитание — и я не намерен уклоняться от исполнения моего долга. Довольно и того, что я позволил отстранить себя и предоставил постороннему лицу занять место, которое самим богом отведено мне и моей жене. Мальчик оказался недостойным, он платит мне злобой и ненавистью, но суть не в этом. Обеспечить его — моя обязанность.

Елена покорилась: настаивать было опасно, в викарии мог заговорить дух противоречия, а пожелай он взять племянника домой, она будет не вправе ему помешать.

— Я сделала еще одну попытку, милый, — сказала она Джеку, навестив в следующий раз мальчиков. — Но опять все напрасно. Ничего не поделаешь, постарайся еще потерпеть.

Она увидела жесткую складку его губ и вдруг поразились его сходству с дядей. И в ответе его тоже послышалось что-то напоминавшее викария.

— Жаль, что вы зря беспокоились и ездили в такую даль, — только и сказал он. — Спросили бы меня, я бы сразу сказал, что ничего не выйдет.

В тот день, когда ему исполнился двадцать один год, Джек получил от дяди приглашение в Порткэррик: после смерти капитана Реймонда его скромное состояние было вверено викарию, и теперь он хотел дать племяннику отчет. «Я все сохранил в неприкосновенности для тебя и твоей сестры, — писал он, — и ради этого впредь до вашего совершеннолетия нес все расходы сам. Как мои ближайшие родственники вы унаследуете и то немного, что останется после моей смерти; поэтому тебе следует знать, как помещены эти деньги. Кроме того, после стольких лет ты, вероятно, захочешь повидать сестру».

Джек сухо, но вежливо отклонил приглашение.

«Прошу вас взять себе из моей доли отцовского наследства все, что вы израсходовали на меня, — писал он далее, — а если что-нибудь останется,

сохраните эти деньги для моей сестры. При первой возможности я постараюсь возместить вам то, что вы потратили на нее. В деньгах, которые, как вы пишете, вы намерены мне завещать, я не нуждаюсь».

На этом он закончил письмо и подписался официально:

«Остаюсь...»

На лето Джек, как всегда, поехал в Шенклин. Елена не встречала его на платформе, и когда он выходил со станции, складки у его губ обозначились резче. В последнее время его тревожило ее здоровье, и он знал, что только болезнь могла помешать ей его встретить. Подойдя к дому, он вдруг остановился, и у него перехватило дыхание: на ступени крыльца в беспорядке свисали ветви жасмина, сорванные со стены вчерашней непогодой; в саду вдоль дорожки простерлись ниц, головками в пыль, алые гвоздики; а Елена так любит цветы, она всегда нянчилась с ними, как с маленькими детьми.

Горничная сказала ему, что Елена прилегла в гостиной на диване. Последнее время ей все нездоровилось, но она непременно хотела сегодня подняться ради его приезда. Джек на цыпочках вошел в комнату; Елена спала, и он остановился, глядя на нее. И опять вокруг его рта глубже стали суровые складки: он все-таки не думал, что она так изменилась.

Когда Елена проснулась, он поцеловал ее, ничем не обнаружив волнения, и тотчас заговорил о пустяках. Минуту-другую она украдкой наблюдала за ним и убедилась, что он понял. «Он уже достаточно искушен в медицине, он не мог не понять, — подумала она. — С Тео будет труднее».

— Когда приезжает Тео? — спросил Джек, словно подслушав ее мысли.

— На той неделе. Каникулы в академии начинаются только в субботу, а ему еще надо по дороге заехать в Париж. Конрад хочет, чтобы его послушал Сен-Сане^[9].

Тео учился в Берлине у Иоахима. Осенью ему предстоял первый сольный концерт; ожидали, что он станет поистине великим артистом.

— Я рада, что эти дни, пока он не приехал, мы побудем с тобой вдвоем, — продолжала Елена. — Мне надо о многом с тобой поговорить.

— О Тео?

— Да, больше всего о нем. Ты раньше стал взрослым, милый, а он... он совсем другой. Наверно, это беда гения. Кто владеет таким даром — или, может быть, дар владеет им, — тот до старости остается ребенком. Тебе придется быть опорой и для него... потом...

Договаривать не было нужды. Джек и так понял. Он сидел молча, не шевелясь; потом поднял глаза на Елену и очень весело ей улыбнулся.

— Да, трудно ему приходится! Но надо же кому-то быть гением, иначе кто порадует музыкой нас, обыкновенных смертных? Спасибо еще, что судьба не послала этого проклятия мне.

Елена негромко засмеялась и взяла его за руку.

— В придачу ко всем другим? Но те проклятия обернулись благословением для старухи, которая очень тебя любит, мой мудрый и высокочтимый советник. Когда-нибудь тебя полюбит молодая, и ты тоже с нею помолодеешь. Хотела бы я хоть на пять минут увидеть тебя молодым.

— Зачем же, довольно одного Тео. Он у нас не просто молод — он сама юность, вечная и неувядаемая.

— Бедный Тео, — еле слышно вздохнула она. Вместо ответа Джек наклонился и поцеловал ее худые пальцы.

— Мама, — сказал он, не поднимая глаз. — Месяц назад ты мне кое-что обещала.

— Да, милый, и сдержала слово.

Он вздрогнул и выпрямился.

— Ты ездила в Лондон... и не сказала мне?

— Нет, нет. Просто один из профессоров, которых ты называл, на прошлой неделе случайно приехал в Вентнор отдыхать, я и решила сразу с этим покончить, достала к нему рекомендательное письмо и...

— Кто это был?

— Профессор Брукс. Я не стала тебе писать, ты ведь все равно собирался скоро приехать.

— Ион?..

— Да, это рак.

Он задохнулся и замер; стало тихо, Джек молча смотрел в одну точку, весь серый, застывший, точно высеченный из камня. Проходили минуты; Елена приподнялась и обвила руками его шею.

— Ты так поражен, милый? Я ведь знала это и думала... думала, что ты тоже догадываешься.

Джек обратил к ней мертвенно-бледное лицо.

— Я подозревал, но знать — это совсем другое. А как он думает...

— Он хочет с тобой поговорить. Я сказала ему, что ты приезжаешь, и он ждет тебя завтра. Со мной он не стал говорить подробно и самый диагноз сказал только потому, что понял: я и сама знаю.

И опять молчание. Когда Елена снова заговорила, голос ее звучал еще тише и слегка дрожал.

— Мне надо сказать тебе еще одно — и ты помни об этом всегда. Сам того не зная, ты был мне утешением в большом горе. Наверно, в

воображении каждой матери ее сын таков, каким ей хочется его видеть, и каждой суждено в старости убедиться, что настоящий ее сын, из плоти и крови, совсем не похож на ее мечту, — пусть даже лучше, но совсем другой. Не мне упрекать судьбу за то, что она одарила моего Тео талантом и взамен, как часто бывает, многим его обошла. Быть может, оттого, что он совсем не такой, как я воображала, удивительный и непонятный, он мне только еще дороже. Но ты, хоть в твоих жилах нет ни капли моей крови, ты был другим моим сыном — тем, о ком в глубине души я всегда мечтала. И я умру спокойнее, потому что я видела исполнение своих желаний — сына, на которого я могу опереться.

Вместо ответа Джек опустил на колени и припал головой к ее груди.

— Я могу на тебя положиться, — горячо повторяла она, — могу на тебя положиться, и ты сбережешь Тео. Если бы я не нашла тебя, мне пришлось бы умереть и оставить его одного — подумать только!..

Джек внезапно поднял голову, в лице его не было ни кровинки.

— А меня ты не оставляешь одного? Тео... У Тео буду я... а у меня? Кто у меня есть в целом свете, кроме тебя? Как ты жила всю жизнь? А теперь... когда я мог бы дать тебе хоть немного счастья и покоя... Это несправедливо! Несправедливо! Ох, ради бога, не будем об этом!

Он вырвал руку из рук Елены и почти выбежал из комнаты. Хлопнула дверь веранды, отзвучали на дорожке сада быстрые шаги, и все стихло; Елена, задыхаясь, откинулась на подушки. Сердце ее часто, испуганно колотилось, этот взрыв отчаяния был так непохож на Джека...

А Джек лежал ничком в траве, под кустом «золотого дождя». Наконец он собрался с силами, походил немного по саду и с самым обычным выражением лица появился в дверях веранды.

— Мама, — сказал он, — я пойду подвяжу жасмин. Я сказал Элизе, чтобы она дала тебе чаю и помогла лечь в постель. Ты не должна чересчур утомляться.

На другой день он побывал у профессора Брукса и с недогнущим лицом выслушал его приговор. Елена может прожить год и даже больше, а возможно — всего несколько месяцев: при раке внутренних органов точнее предсказать трудно. Оперировать профессор не советует, — быть может, операция и продлит немного жизнь больной, в лучшем случае — на два-три месяца; но милосерднее этого не делать.

— Будь это моя мать, я не хотел бы операции, — прибавил он мягко.

— Значит, вы полагаете, что она будет очень страдать? — спросил Джек. Голос его звучал твердо.

Профессор ответил не сразу.

— Смотря по обстоятельствам... Быть может, не очень, если болезнь будет развиваться быстро. Но рак есть рак, и вполне возможно...

Он запнулся, с недоумением глядя на бесстрастное лицо посетителя. «Что это, — подумал он, — черствость или самообладание?» Потом он заметил капли пота, бисером проступившие на лбу Джека, и подумал: «Бедняга!»

На следующей неделе приехал Тео, лучезарный, как солнце, счастливец, не ведающий ни горя, ни смерти. Елена писала ему в Париж, что была больна «и еще не совсем окрепла», поэтому он не удивился, что на станции его встретил один Джек, а дома мать даже не поднялась с дивана. Он вбежал со скрипкой в руках, сияя безмятежной улыбкой и ореолом золотых кудрей, бросился на колени перед диваном, рассыпал по нему ворох подарков и едва не задушил Елену объятиями и поцелуями.

— Что же ты, мамочка, вздумала хворать, как только мы уехали? Ты, верно, хотела дать нашему доктору Джеку попрактиковаться? Это уж, знаешь, слишком, даже для любящей матери! И как ты похудела! Поправляйся скорей, пока погода не испортилась, мы непременно покатаем тебя на лодке. Постой-ка, я там кое-что привез, ты как увидишь — сразу выздоровеешь!

Он выбежал в прихожую, тотчас возвратился с целым ворохом белых лилий и осыпал ими диван.

— Видали вы такую роскошь? Я проездом был в Гавре, там крестьянки торгуют ими на рынке. Ими украшают в храмах статуи мадонны, вот и я привез их своей мадонне.

— И тащил эту охапку от гамого Гавра? Мало тебе скрипки?

— Что ж, мамочка, ведь и праведники в раю тоже носят с собой и лилии и музыкальные инструменты. А сегодня в море — настоящий рай, белые чайки — серафимы, сверкающие рыбки скачут и пляшут от восторга, точно души праведников после смерти. Ты что такой кислый, Джек? Устал резать мертвецов?

Джек стоял у окна, глядя на цветущий сад, и спрашивал себя, сколько еще можно это выносить. Он обернулся с каменным, неподвижным лицом.

— Да нет, тебе показалось. Лилии, наверно, надо поставить в воду?

— Да, только, кажется, их придется ставить в ванну. Мамочка, под этими лилиями ты стала еще красивее! Вот бы так и оставить.

Он наклонился, собирая цветы; Елена обняла его за шею, притянула к себе и прижалась щекою к его щеке.

— Коханку мой!

Таким светом глаза ее лучились только при виде Тео, и голос по-

особенному тепле, произнося слова родного языка. А Джек, лишний, смотрел на все это без горечи, без ревности, но сердце его больно сжималось. За многие годы он к этому привык, и, однако, боль была все так же остра. Это неизбежно, и надо смиряться и не роптать. До последней минуты его беспредельная преданность будет радовать Елену меньше, чем одно прикосновение ярких крыльев этого мотылька; и все же она любит его, любит так сильно, как только может любить кого-то, кроме Тео, и притом — не поляка. «Он для нее — сама Польша, — снова, в который раз, подумал Джек. — А что ему Польша? Все равно что мне — Эльдorado».

Тео со смехом выбежал из комнаты, унося огромную охапку лилий, а на плече — мурлычущего черного котенка, осыпанного до самого кончика хвоста золотой пылью. Дверь за ним затворилась — и свет в глазах Елены померк.

— Как ему сказать, Джек? Омрачить его душу — святотатство: он — светлый Бальдур^[10].

Джек наклонился, поправил ей подушку и стал подбирать упавшие лепестки.

— Позволь, я ему скажу, мама, — заговорил он, не глядя на нее. — Может быть, от меня ему будет не так тяжело это услышать, тебе профессор Брукс запретил волноваться.

На лице Елены отразилась внутренняя борьба.

— Нет, милый, — сказала она, помолчав. — Мы ему ничего не скажем. Не надо омрачать ему нынешнее лето. Не забудь, осенью у него концерт. Если он расстроится, он будет хуже играть, а ведь первое выступление — это так важно! Да и зачем ему знать: я... я пока еще не так часто чувствую боли, а он в сентябре опять уедет в Германию. За это время он ни о чем не догадается...

Джек наклонился и грустно поцеловал ее.

— Как хочешь, мама. Кроме нас с тобой, никто знать не будет.

ГЛАВА X

Итак, каникулы проходили, а Тео ничего не подозревал. Он был горько разочарован тем, что мать нездорова и у нее нет сил на веселые прогулки, о которых он столько мечтал; у него был легкий, счастливый характер, он не признавал радостей, которые нельзя разделить с окружающими, и свято берег каждый лишний грош на лето, «чтобы поехать с мамой по разным местам». Теперь, когда это не удалось, он тратил все свои деньги на ранний тепличный виноград и персики для Елены, неутомимо разыскивал для нее цветы и ракушки, мастерил морской аквариум, чтобы ее развлечь, или в сумерки садился к фортепьяно и тихонько сочинял что-то, а Елена лежала и слушала, сжимая обеими руками руку Джека.

— Слышишь, мамочка, это плещет волна о борт лодки; — фантазировал Тео. — На будущий год мы поедем с тобой кататься, и ты будешь слушать не мое подражание, а настоящий плеск волн.

— Твое подражание мне нравится больше, милый, — весело отвечала Елена и чуть крепче сжимала руку Джека.

Для них обоих это было трудное лето, такое трудное, что мужество, пожалуй, изменило бы Джеку, если бы не беспримерное терпение Елены. Ее недуг еще не достиг той стадии, когда муки становятся нестерпимы; но и теперь нередки были долгие ночи без сна, и Джек подолгу читал ей вслух или, если ей было совсем плохо, молча сидел рядом. Часто она упрашивала его оставить ее одну и лечь.

— Ничего со мной не случится, — повторяла она, с тайным ужасом думая об одинокой ночи пыток и в то же время тревожась, что бессонные ночи скажутся на здоровье Джека.

— Дай мне побыть с тобой как можно больше, мама, — мягко отвечал он, и, незаметно вздыхая с облегчением, Елена покорялась.

Наконец, наступало утро, и с ним появлялся Тео, быстрый, сияющий, и заплетал длинными, еще влажными от росы ветвями жимолости перекладины в ногах ее кровати.

— Хорошо спала, мамочка? — говорил он. А иногда, заметив, как осунулся Джек, прибавлял: — Ты слишком много работаешь, старик.

Однажды он догнал Джека в саду и взял его под руку своей удивительной рукой — рукой музыканта, сильной и гибкой, с необыкновенно чуткими пальцами.

— Ты меня беспокоишь, Джек, — сказал он. — Мне кажется, тебя что-

то гнетет.

Джек мгновение помедлил, потом посмотрел на него со своей серьезной улыбкой.

— Ты думаешь — несчастная любовь? Милый мой, я просто ломовая лошадь. Где уж мне вылезти из упряжи и влюбиться, как влюбляетесь вы, люди искусства. Кстати, что случилось с той девушкой, которой ты прошлым летом посвятил романс?

Влюбчивость Тео была в их доме неистощимой темой для шуток. Менее любящей матери могли бы, пожалуй, наскучить его восторженные хвалы чуть не каждой девушке, случайно встреченной в концерте или просто на улице. Он находил сходство с ливийской сибиллой или с «Мадонной в гроте»^[11] там, где Джек, с его не столь пылким воображением, видел лишь самое обыкновенное девичье личико. Однажды, бродя по берегу, они увидели босоногую молодую рыбачку, — она сидела на камне у самой воды и чинила отцовскую сеть, ее жесткие от соленого ветра волосы спадали на плечи, позади нее пламенел закат, и всюду мерцал влажный песок. Целую неделю несчастный Тео не знал покоя; под проливным дождем, по обдуваемым всеми ветрами скалам он, что ни день, шагал в рыбачий поселок и возвращался вечерами промокший насквозь, бледный, усталый и разочарованный: ему все не удавалось с нею повстречаться. А потом настало воскресенье, и он ее увидел: она шла в церковь, празднично одетая, в тесных, начищенных до блеска башмаках, густые волосы, стянутые узлом, прикрывала уродливая шляпка, на которой качались и кивали огромные, ядовито-красные искусственные розы. Тео вернулся домой с трагическим лицом, но исцеленный. От страсти к босоногой незнакомке остался лишь прелестный романс для скрипки под названием «Сети рыбачки».

Каникулы кончились, и Тео вернулся в Германию. Елена упорно скрывала от него правду.

— Мама, — не выдержал однажды Джек, — нельзя же вечно от него скрывать. Это будет такой неожиданный удар. И потом... Германия так далеко...

— Время еще есть; пускай он спокойно даст свои первые концерты. Мы успеем за ним послать, когда мне станет хуже. И когда он приедет, постарайся, чтобы он не видел самого скверного, милый. Я... я видела, как человек умирал от рака, и я не хочу, чтобы Тео...

— Это несправедливо, мама! — перебил Джек. — Тео тоже человек, и ты не имеешь права лишать его человеческой доли. Ты заслоняешь его щитом, и он никогда не научится жить.

— Он научится очень скоро... потом.

— Потом... А в эту последнюю зиму ты будешь одна...

— Не одна, милый, ведь ты со мной.

— Я-то, конечно, с тобой. Но я не Тео. Мама, ты была жертвой всю жизнь, но теперь, когда всему конец... нельзя так забывать о себе... это несправедливо.

— А разве справедливо будет, если я свяжу ему крылья? Художник — верховный жрец божества, он принадлежит всем людям и никому в отдельности. Я не вправе отнимать его у музыки только потому, что не вовремя умираю; пусть это делают те матери, чьим детям не дано таланта.

Джек стиснул зубы и не поднимал глаз.

— Тогда слава богу, что мне не дано таланта! — сказал он наконец.

Елена привлекла его к себе и поцеловала в лоб.

— Я тоже могу лишь благодарить за это бога.

После отъезда Тео Джек перевез ее в Лондон и снял квартиру на двоих подле Кью-Гарден. Утомительные ежедневные поездки в город и обратно давались ему нелегко, он и без того работал сверх сил, зато Елена здесь дышала свежим воздухом и видела зелень деревьев, и он мог не расставаться с нею в эти последние считанные месяцы.

Зимой Джек провалился на экзамене — в первый и единственный раз за все студенческие годы.

Еще не услышав первого вопроса, он понимал, что провалится: эта ночь у постели Елены была ужасна, и теперь голова его разламывалась и в висках стучало так, что, казалось, пол уходит из-под ног. Заняв свое место, он оглянулся на товарищей. Одни были неестественно возбуждены, другие подавлены, лишь немногие держались спокойно и деловито. С минуту Джек смотрел на них с каким-то неясным любопытством: как далеки они от него, какие пустяки их волнуют. А ведь, в сущности, важно только то, что по-настоящему страшно и безнадежно. Например, рак; быть может, кого-нибудь из них спросят о раке; экзаменатор задаст вопросы, студент станет отвечать, и обоим покажется, будто они что-то знают, словно можно что-то знать о раке, пока не увидишь, как от него умирает самый дорогой тебе человек. И только тогда поймешь единственную бесспорную истину: что ты ничего не можешь сделать, ничего!

Джек закрыл глаза: опять на него нахлынул и стал душить нестерпимый ужас минувшей ночи. «Все это зря, — подумал он. — Я сегодня ни на что не гожусь, лучше уйти». Потом взял себя в руки и машинально стал готовиться к ответу.

Под вечер к нему подошел один из экзаменаторов.

— Вы сегодня на себя не похожи, Реймонд, — сказал он участливо. — Мне кажется, вы не совсем здоровы.

— Вы правы, — ответил Джек. — Сглупил, не надо было приходиться. Конечно, я провалился?

— Да, к сожалению... Вам, по-моему, следует лечь в постель. Что с вами?

— Так, пустяки, благодарю вас.

Дня три спустя тот же экзаменатор, увидев Джека на другой стороне улицы, перешел через дорогу и окликнул его.

— Реймонд, вчера у меня обедал профессор Брукс, он говорил о вас. Почему вы не сказали, что провели ночь около больной раком? Конечно, вы были не в силах держать экзамен. От души вам сочувствую, Брукс говорит, что вам сейчас очень тяжело приходится.

Глаза Джека сверкнули.

— Да. И женщине, которая моет полы в анатомическом театре, тоже очень тяжело приходится. На прошлой неделе у нее умер ребенок, я видел, как она завтракала, сидя на лестнице, и слезы капали на хлеб с сыром. Но она не оставила полы невымытыми. Горе человека не должно мешать его работе.

Экзаменатор в недоумении посмотрел на него.

— От души вам сочувствую, — мягко повторил он. — Ведь больная — ваша матушка! Много ли у вас друзей в Лондоне?

— Спасибо, не беспокойтесь. Профессор Брукс был очень внимателен, и доктор, который ее лечит, тоже. Что до друзей... тут никто ничем не поможет.

— Но если понадобится помощь, дайте мне знать, хорошо? А из-за экзамена не огорчайтесь — выдержите в будущем году. Вы станете отличным врачом, у вас для этого все задатки.

А Тео тем временем покори́л Берлин, Париж и Вену. Восторг, вызванный его искусством, мог вскружить и более трезвую голову; но Тео от природы был на редкость чужд мелкого тщеславия и самодовольства, успех действовал на него совсем не так, как мог бы подействовать на впечатлительного юнца восемнадцати лет, к которому вдруг пришла слава. Первые месяц-два это его забавляло; он посылал домой премилые карикатуры пером, изображая себя в виде «самоновейшего Мумбо-Юмбо» на троне, с львиной гривой, еще короткой, отросшей только наполовину, так что из-под нее торчат ослиные уши; или в виде неотесанного деревенского увальня со скрипкой и смычком, ухмыляющегося до ушей на радость музыкальным критикам в очках и наводящим жуть великосветским

старухам.

Очень скоро благосклонность публики ему опостылела. «На меня пялят глаза, как на гориллу в клетке, — писал он, — и до того хлопают, когда я выхожу, что я начинаю себя чувствовать клоуном в цирке — так и хочется крикнуть: «А вот и мы!» — и перекувырнуться. Играть по-настоящему нечего и пробовать: откуда возьмутся огонь и вдохновение, когда в зале только и смотрят, на какую ногу ты опираешься и какой у тебя пробор! А до чего я ненавижу женщин! В самую неподходящую минуту они щелкают веерами, а потом кидаются к тебе, затянутые в корсеты, с голыми плечами, и заводят разговор о душе, о святом искусстве, и их бархатные и шелковые шлейфы путаются у тебя под ногами. Я бы отдал свою лучшую струну, лишь бы подобрать эти длиннейшие хвосты с пола и прикрыть им плечи. И они наверняка тираният прислугу». В следующее письмо вложены были чек и рисунок: развеселый человечек приплясывает на одной ноге. «Милая мамочка! — наспех, карандашом, нацарапано было под рисунком. — Это тебе на виноград и на прогулки в карете. Гауптман (импресарио) раскошелился, а немного погодя будут и еще деньги, сколько хочешь. Непременно, непременно выздоравливай поскорее и надень кружева, которые я посылаю почтой. Больше тебе уж не придется изворачиваться и экономить и урезать себя во всем, а наш премудрый Джек может накопить себе скелетов, сколько его душеньке угодно».

— Мама, — сказал Джек, дочитав, — больше нельзя от него скрывать, это жестоко.

Тяжелые слезы поползли из-под сомкнутых век Елены; даже прочесть письмо было для нее теперь непосильным трудом, и голос ее дрожал от слабости.

— Если хочешь, скажи ему, милый. Теперь это уже не помешает его успеху. — Голос ее сорвался, потом она прибавила тревожно: — И еще... Джек...

— Да, мама?

— Смотри, не говори ему, что это... так мучительно. Ты же знаешь, люди так пугаются одного слова «рак». Мне могло быть гораздо хуже. И потом, морфий... все-таки помогает...

— Я скажу.

И Джек написал Тео, чтобы он приехал домой, как только позволят условия контракта; он сказал только половину правды, но и этого было довольно, чтобы подготовить Тео к худшему. В ответ пришла телеграмма уже с дороги: Тео выехал домой, предоставив импресарио извиняться перед взбурдаженной парижской публикой.

Узнав наконец правду, Тео проявил достоинство и терпение, каких Джек от него не ждал. Тяжкий удар словно пробудил в нем нечто унаследованное от матери. При ней он ни на минуту не потерял самообладания; но поздно вечером Джек вошел к нему в комнату и застал его врасплох: Тео, смертельно бледный, сжался в комок у окна и дрожал от ужаса. При виде своего неизменного друга и защитника он вскочил и уцепился за руку Джека, точно перепуганный ребенок.

— Ох, как хорошо, что ты пришел!.. Я... мне страшно.

Джек присел с ним на кровать и обхватил рукой его плечи, стараясь унять сотрясающую их дрожь. Этого он не понимал: его горе выразалось совсем по-другому; но он обладал терпеливым великодушием врача, и с него довольно было бодрствовать подле того, кто страдает, и помогать в меру сил, хотя бы и не понимая. Немного погодя Тео поднял голову; он был все еще очень бледен, но больше не дрожал и не стучал зубами.

— Ты очень добрый, дружище, — выговорил он. — Ты так устал, а я не даю тебе лечь.

— Ничего, я привык поздно ложиться.

— Джек, ты совсем никогда не боишься?

— Не понимаю. Чего бояться?

— Смерти.

Брови Джека сдвинулись, глубокая складка обезобразила лоб.

— Знаешь, — медленно сказал он, — если уж бояться, так того, что страшнее смерти.

— Я не своей смерти боюсь, это пустяки. А вот когда...

— Когда умирают другие? Да, это страшнее. Но и к этому в конце концов привыкаешь.

— Нет, я даже не о том. Понимаешь... она всегда здесь, от нее никуда не денешься, она ежечасно подстерегает все, что тебе дорого. Я... прежде я об этом не думал... как будто у тебя под ногами яма, и она говорит тебе: «Посмей переступить через меня». Выходит — живи, но бойся полюбить, не то боги увидят — и отнимут у тебя все, что ты любишь.

Джек задумался, горькие складки у его губ стали резче.

— Это не так страшно, — сказал он наконец. — Если с теми, кого любишь, не случилось ничего хуже смерти, считай, что тебе еще повезло. По-моему, смерть не стоит того, чтобы столько из-за нее горевать. Ведь все равно ее не минуешь, так что толку об этом сокрушаться? Вот что, Тео: если тебя одолевают всякие страхи, или тоска, или еще что-нибудь, не сиди вот так один. Цепляйся за меня, а уж я как-нибудь тебя вытащу.

— Будешь взваливать на себя мои беды, как будто сам ты заговорен и

от страха и от тоски? И не могу же я цепляться за тебя всю жизнь?

— А почему нет? На что еще я годен? На скрипке я играть не умею.

Тео со вздохом поднялся, закинул руки за голову.

— Возблагодари за это небеса, — сказал он и устало опустил руки. — Знаешь, Гауптман опять телеграфировал. Хочет, чтобы я завтра вечером был в Париже и играл в Шатле концерт Бетховена.

— И поезжай. И играй как можно лучше, не то мама огорчится. А теперь ложись и спи, завтра надо встать пораньше, если не хочешь опоздать на поезд. Я тебя разбужу; я все равно в это время уже на ногах около мамы.

Быть может, на другой вечер Тео сыграл концерт Бетховена и не с таким блеском, как мог бы, но публика и импресарио были довольны. Грянули аплодисменты, и он стиснул зубы; нервы его были натянуты до того предела, когда во всяком звуке слышишь угрозу и во всякой толпе видишь бешеного зверя. Публика восторженно кричала, жадно разглядывала его, громко хлопала, махала программками, а в душе Тео поднимались ужас и отвращение; в отчаянии он закрыл глаза.

— Бис! — вопил зал. — Бис! Бис!

Тео задышался, он готов был зажать руками уши, чтобы не слышать этого многоголосого рева, который казался ему каким-то бедствием, кощунством. Ему страстно хотелось закричать: «Перестаньте! Как не стыдно! Я не могу играть, у меня мать умирает!»

Он повернулся и пошел прочь со сцены, но на ступеньках ему загородил дорогу импресарио и вновь сунул в руки скрипку. Тео оттолкнул ее:

— Не могу... Я устал...

— Что-нибудь, что угодно — скорей! Иначе мы от них не избавимся. Только этим их и угомонишь.

Тео машинально взял скрипку и вернулся на сцену. Буря криков и аплодисментов разом смолкла, едва он поднял смычок. Наступила тишина — и тут он понял, что ему нечего играть. Невидящими глазами смотрел он на море лиц, в ожидании обращенных к нему, он все забыл, в памяти не удержалось ни единой ноты, ни единого имени композитора.

И, однако, надо что-то сыграть: люди смотрят на него и ждут, ждут, а ему нечего им дать. Слепящие огни словно заволокло дымкой; Тео устремил взгляд в дальний, тускло освещенный конец зала, пытаясь вспомнить. Там, среди теней возникла комната — сумеречная, безрадостная обитель скорби; там его мать — бледное, исхудалое лицо на подушке, высохшие жалкие руки; и у постели — безмолвно бодрствующая фигура, усталые глаза.

Он начал играть. О слушателях он не помнил, он играл не для парижской публики, но для Джека и Елены. Когда он кончил, минуту стояла тишина; потом на него снова обрушились аплодисменты. Содрогнувшись, Тео сбежал по ступенькам.

В артистической Конрад схватил его за руку.

— Тео, — сказал он хрипло, — это было... твое?

Тео огляделся, как затравленный: неистовый гром оваций вызывал в нем ужас; казалось, от этого убийственного грохота никуда не скроешься.

— Я... у меня это получилось само. Это было... очень плохо? Дядя Конрад, заставь их замолчать. Я больше не могу. Я...

Он был страшно бледен, его била дрожь. Конрад тоже побледнел, но по другой причине. Он торжественно положил руку на плечо Тео.

— Возблагодари бога за его великий дар, — сказал он. — Ты гений.

Тео неожиданно разрыдался.

— А мама умирает...

До конца зимы он наотрез отказался давать концерты на континенте. Импресарио убеждал его, упрашивал, грозил, но все напрасно; наконец, пожав плечами, он сдался и устроил Тео несколько выступлений в Лондоне. По счастью, сборы были достаточные, чтобы маленькая семья ни в чем не нуждалась, и можно было дать Елене скромные радости, способные хоть как-то скрасить последние тяжкие месяцы ее жизни.

Перед смертью Елена немного освободилась от вечной сдержанности, которая окутывала ее, точно монахиню саван, все годы вдовства. Конраду, дважды приезжавшему из Парижа повидаться с ней, минутами даже казалось, что перед ним та девочка, которую он знал в молодости. Изредка вечерами, когда она лежала на низкой кушетке у камина, держа за руку сидевшего рядом Джека, а Тео, растянувшись на ковре, смотрел на нее с обожанием, она рассказывала им что-нибудь о своей жизни в далекой северной пустыне, о муже, его смерти в ссылке, о своей трагической молодости и о более поздних, безрадостных годах. Но чаще сил ее хватало только на то, чтобы молча терпеть боль. Она переносила страдания с бодростью поистине стоической, но от этого они не становились менее изнурительны.

Неожиданно в эту последнюю зиму Елена вновь обрела дар импровизации, которым славилась в юности. Изредка выдавались «светлые дни», когда она не слишком страдала и в то же время была не слишком слаба и измучена, — и незаметно речь ее становилась напевной, и она говорила с Джеком или Тео то стихами, то своеобразной размеренной прозой, напоминающей псалмы или древние народные сказы.

В последний раз она вышла из своей комнаты в начале марта. Среди непогоды вдруг выдалось несколько ясных весенних дней, и разом зацвели первые цветы. В Кью-Гарден в тени под деревьями склонялись головки подснежников, а на поросших травой открытых склонах победно сияли, отражая солнце, золотые чаши желтых крокусов.

Выбрав самый теплый день, Джек и Тео уложили Елену на кушетку и вынесли в парк, чтобы перед смертью она еще раз увидела наступление весны.

Сыновья принесли Елену на лужайку, где цвели десятки тысяч белых, желтых и лиловых крокусов: яркие головки цветов были гордо вскинуты, целый лес прямых стеблей серебрился в траве. Джек сел подле Елены на скамью; Тео, по обыкновению, растянулся прямо на земле, закинув руки за голову. Елена лежала и смотрела на россыпь крокусов; глядя на ее застывшие черты, они оба не осмеливались заговорить, точно перед лицом смерти.

— Мама, — вымолвил наконец Джек, — боюсь, что тебе пора домой.

— Еще минуту, милый, ведь больше я этого не увижу. Смотри! — Взор ее вновь обратился на крокусы. — Вот мой народ.

Джек не понял — он не был наделен столь живым воображением.

— Разве там у вас они растут просто в полях? — спросил он и отвел глаза, чтобы не видеть во всей наготе эту вечную, неисцелимую тоску по далекой родине.

— Разве ты не видишь? — пробормотал, лежа в траве, Тео. — Это войско.

Странный свет вспыхнул в глазах Елены.

— Войско на миг и навеки; войско, что не ведает ни побед, ни поражений. Завоевания ли, утраты ли — воинам все едино; исход битвы предрешен для них еще прежде, чем они увидели свет дня; они падают и умирают и не скорбят об этом, ибо они воины на веки веков; и сама земля у них под ногами проросла копьями.

Джек и Тео слушали затаив дыхание; Елена была неузнаваема, она словно вся светилась.

— Смотрите, как они слабы и беззащитны, как легко наступить на них и раздавить, но какое это негибкое и стойкое воинство. Никогда ни один из них не ронял свое знамя, как делают розы; ни один не поникал головой, стыдясь своего дрогнувшего сердца. Когда бьет его час, каждый воин падает, не отступив ни на шаг; и новый солдат, даже не оглянувшись на павшего, становится на его место. И вот все кончено, и та земля, где они полегли мертвыми, уже о них забыла. Буйные летние плевелы скрывают

увядшую оболочку и в ней — горькие семена. Но как на смену зиме неотвратимо приходит весна, так неотвратимо восстанут из мертвых наши воины, вновь каждый на своем посту, с оружием в руках, и ряды готовы к бою.

Последовало долгое молчание; потом Елена со вздохом обернулась:
— Идемте, дети. Наша весна еще не настала.

Они отнесли ее в дом; Джек все молчал и смотрел угрюмо. Да, конечно, ее вера не напрасна: в должный срок взойдут семена и наступит жатва. Но что в том толку, если семена так горьки и жатва — смерть?

ГЛАВА XI

После смерти Елены Джек два года учился в Париже. Потом возвратился в Лондон и год работал в больницах, прежде чем поехать в Вену, где он намеревался закончить свое образование. Скромной суммы, которую оставила ему Елена, при его спартанских привычках вполне хватило бы до той поры, пока он не сумеет получить место в какой-нибудь больнице; но он никогда не упускал случая немного заработать: давал уроки, готовил препараты для микроскопа, составлял библиографические справки, — и все, что удавалось сэкономить, откладывал для Молли. Сначала он надеялся, что она приедет к нему в Париж и будет здесь учиться, но, сколько он ее ни звал, она холодно писала в ответ, что «не может уехать из дому». Брат с сестрой по-прежнему переписывались, но сухо, официально, как чужие. Не раз Джек пытался сломать разделявшую их преграду, но не встречал отклика; Молли продолжала писать редко, но аккуратно, в одних и тех же холодно-вежливых выражениях, чопорно и сухо. Очевидно, ее научили видеть в нем отверженного, родство с которым бросает на нее тень. Джеку было горько об этом думать; но он примирился и с этим, как со многим, многим другим.

Однажды, вскоре после возвращения из Парижа, он получил от Молли письмо с лондонским штемпелем. Она коротко сообщала, что будет посещать курсы сестер милосердия, остановилась в Кенсингтоне у родных тети Сары; если он хочет ее видеть, в воскресенье после обеда она дома.

Джек, разумеется, пошел, хоть и не ждал ничего от этой встречи. Приехала родная сестра, ради которой он все эти годы, урезая и ограничивая себя, откладывал каждый лишний грош, работал как вол и строил планы, а он идет к ней с официальным визитом, какие время от времени приходится наносить женам профессоров. Разница только в том, что сестра, пожалуй, встретит его не так приветливо.

В затхлой старомодной гостиной, где все отзывалось началом царствования королевы Виктории, он увидел высокую, серьезную, сдержанную девушку в окружении ехидных старых дев с поджатыми губами; его встретили пронзительные, настороженные взгляды. А Молли не поднимала глаз, и под густыми ресницами он не мог угадать их выражения, видел только недобрую складку плотно сжатых губ. Джек вытерпел полчаса пустопорожней болтовни, вслушиваясь в голос Молли, когда она роняла слово-другое. Она предоставила хозяйкам вести разговор и лишь

изредка вставляла банальную, ничего не значащую фразу; но ее глубокий, низкий голос, ее мягкая певучая речь, так напоминавшая о родном Корнуэлле, казались ему прохладным родником в бесплодной пустыне убогой и манерной трескотни истэндских кумушек. К вороту ее платья была приколот веточка вереска.

Наконец Джек поднялся и стал прощаться, и тут Молли обратилась к хозяйке дома:

— Я пройду с братом по парку, миссис Пеннинг, и вернусь к ужину.

Миссис Пеннинг закусила губу. Вверяя племянницу ее заботам, викарий предупреждал, что брат Молли, который живет в Лондоне и, вероятно, ее навестит, «неподходящая компания для молодой девушки». И она вовсе не намерена была отпустить Молли на прогулку в обществе этой паршивой овцы их семейства; а послать с нею сейчас какую-нибудь добродетельную родственницу значило бы расстроить все свои планы. Право, как эта девушка опрометчива!

— К сожалению, милая, сегодня я не могу выйти из дому, — сказала миссис Пеннинг, — но если вам непременно хочется пройтись, конечно, Милдред не откажется меня заменить. Воротитесь через полчаса, она собирается к вечерне.

— Благодарю вас, — возразила Молли, — беспокоить Милдред нет нужды.

— Но, милая! Нельзя же вам ходить по улице одной. Молодой девушке, да еще приезжей, это не пристало!

Молли подняла глаза на Джека, и он тотчас вмешался:

— Я провожу сестру до самого дома.

— Да, конечно, — замялась миссис Пеннинг, — но... мне кажется... пока Молли на моем попечении, я бы предпочла, чтобы она выходила из дому только под присмотром женщины постарше. Мистер Реймонд так строг, — я уверена, он не желал бы, чтобы ее видели в парке вдвоем с молодым человеком...

— Даже с братом?

Молли вдруг обернулась, в глазах ее вспыхнул опасный огонек.

— Именно с братом. Вы очень любезны, миссис Пеннинг, но нам надо поговорить о семейных делах, и мы предпочли бы остаться одни. Пойдем, Джек.

Они молча вышли, оставив миссис Пеннинг в совершенном изумлении. В дверях Молли обернулась к Джеку, ноздри ее вздрагивали.

— Все они шпионки, — сказала она.

Он промолчал, вполне с нею согласный, и, не обменявшись более ни

словом, они вышли из дому.

— Знаешь, зачем я приехала в Лондон? — спросила наконец Молли, не поворачивая головы.

— Ничего я не знаю, Молли, не знаю даже, какая у меня сестра.

— Я приехала повидать тебя.

Все так же молча Джек повернулся и посмотрел на нее. Лицо у Молли было холодное, почти злое.

— Я тоже не знаю, какой у меня брат, и решила, что пора узнать. Наверно, я любопытней тебя.

Джек вдруг стиснул зубы, и девушка, следившая за ним из-под ресниц, поняла, что он задет. Он ответил не сразу:

— Я рад, что ты приехала.

Молли метнула на него быстрый взгляд. Ноздри ее затрепетали от волнения, лицо снова преобразилось.

— Рад? А я еще не знаю, рада ли. Это зависит от...

Она прервала себя на полуслове, потом словно вдруг решилась и заговорила горячо:

— Какой бы ты ни был, ты мой брат, ближе тебя у меня никого нет. Теперь мы выросли, и нам не мешает знать хоть что-то друг о друге из первых рук, а не верить на слово другим — ведь правда? Или, по-твоему, кровное родство — пустяк?

— Нет. И я никогда никому не верил на слово.

— Никому? И не поверил, когда тебя звали приехать? Сколько мы с тобой не видались, — семь лет, восемь? — а ты отказался.

— Меня звали в дом дяди. А повидать тебя... я так долго этого ждал, что проще было потерпеть еще немного, пока ты ко мне сама не приедешь, только бы не... — Джек помолчал, потом медленно договорил: — Я не мог войти к нему в дом. Если мы когда-нибудь лучше узнаем друг друга, ты поймешь, почему. Объяснить я не могу.

— Джек, — вырвалось у Молли, — что произошло у тебя с дядей? Нет, если не хочешь, не говори. Я не имею права спрашивать, это не мое дело. Но поневоле слышишь какие-то разговоры... сплетни...

— Ты, конечно, вправе спрашивать, — хмуро ответил Джек. — Но едва ли я вправе ответить.

— И это, по-твоему, справедливо?

— Нет, но тут все несправедливо, с начала и до конца. Только, пока ты живешь на дядины деньги, он имеет право требовать, чтоб его враги не говорили тебе про него худо.

— Значит, ты ему враг? Самый настоящий? И не можешь сказать о нем

ничего хорошего?

— Ничего.

— А о тете Саре? Ты и ей тоже враг? Джек чуть помедлил.

— О ней мне нечего сказать — ни худого, ни хорошего.

— Джек, я не знаю, что произошло, но ведь это было так давно, столько лет назад. А она до сих пор из-за тебя не спит ночей и плачет. Зимой, когда она болела плевритом и чуть не умерла, она все цеплялась за меня и повторяла, что делала для тебя все, что могла. Ну что плохого она могла тебе сделать? Уж наверно, тетя Сара за всю свою жизнь и мухи не обидела. Про дядю я понимаю, но за что ненавидеть ее?

Джек отмахнулся:

— Я ее не ненавижу.

— Так презираешь, — тотчас подсказала Молли.

— Это уж не моя вина. Она тепла, как ангел Лаодикийи^[12]; я предпочел бы, чтобы она была либо горяча, либо холодна.

На глазах Молли сверкнули сердитые слезы.

— Ты добьешься, я тебя возненавижу! — с жаром, но, как всегда, стараясь сдержаться, сказала она. — Заставляешь больную, несчастную старуху терзаться и мучиться из-за какой-то детской ссоры, которую давно пора забыть... На днях она горевала, что неправильно меня воспитывала, и просила прощенья. Мне прощать ее, когда, кроме нее, обо мне никто никогда и не думал! Она вообразила, что ты стал «на путь зла», потому что был несчастлив дома и она как-то в этом виновата. Неужели ты был так несчастлив, Джек?

— «Несчастлив»! — повторил Джек, и голос его так странно дрогнул, что сестра испуганно вскинула на него глаза. — Послушай, Молли, — продолжал он с видимым усилием, — что толку все это ворошить? Тетя Сара мне зла не делала, просто она струсила и перешла на сторону моего врага. Но все равно, она была добра к тебе — и спасибо ей за это, и пускай из-за меня не огорчается. А о дяде я могу сказать только такое, чего лучше не говорить. Ты хочешь знать, почему я не могу войти в его дом, так вот: однажды я пытался его убить — думаю, с тебя этого довольно.

— Я как-то спросила его, и он сказал, что ты...

— Молчи! — прервал Джек. — Я ничего не хочу слышать и ничего тебе не скажу. Не суди о дяде по тому, что скажу я, — я не могу быть беспристрастен. И обо мне суди не с чьих бы то ни было слов, а по тому, что видишь сама. Если я дрянь, ты это и так быстро поймешь.

Молли улыбнулась ему. Необычайная прелесть была в этой улыбке, внезапно смягчившей строгое и чистое юное лицо.

— Никто не говорил мне, что ты дрянь. А если бы и сказали, я все равно не поверю. Просто, наверно, ты ничего не забываешь, но это у нас в роду. Я тоже кое-что помню...

Она не договорила.

— Тиддлса? — спросил Джек. Она вдруг вся посветлела.

— Откуда ты знаешь?

И оба засмеялись, потом умолкли, — и в эту минуту впервые почувствовали, что они и в самом деле родные.

— Дядя — несчастнейший человек, — сказала Молли, сумрачно и задумчиво глядя в зеленую глубь парка. — Всю жизнь он пытался лепить по-своему души своих ближних — и нет на свете человека, который бы его любил или хоть уважал.

— Кроме тети Сары.

— А она всю жизнь золотила для себя пиллюлю. Теперь она уже старая, и позолота тоже поистерлась, тетя угадывает истину и мучается, и ей страшно.

— В чем же истина?

— В глубине души она его презирает.

— Так вот почему ты не могла поехать в Париж? — резко спросил Джек.

Молли ласково взяла его под руку.

— Ты догадливый. Я не могла ее оставить. Ты не представляешь себе, какая в этом доме тоска. Они живут под одной крышей и стараются не смотреть друг другу в глаза; точно их подстерегает привидение. Дядя изо всех сил притворяется, будто забыл о твоём существовании, она притворяется, будто принимает его притворство за чистую монету.

— А ты?

— А я притворяюсь, будто ничего не замечаю. А все соседи притворяются, будто из-за тебя никогда не было никакого скандала. Все мы притворяемся.

— Молли, неужели ты не понимаешь, чем это кончится? Рано или поздно разрыв с дядей неизбежен, жестокий и окончательный. Этого не миновать, ведь ты живой человек.

— Может быть; но пока тетя жива, этого не будет.

— Она совсем не старая, она может прожить еще тридцать лет. А если вы с ним рассоритесь, как по-твоему, что она сделает?

— Все, что он велит.

— А если он велит выгнать тебя из дому?

— Выгонит, конечно. Но это ее уьет. Только этого не случится. Не

забудь, я ей дороже всего на свете, хоть она не горяча и не холодна. И дядя это знает; он благодарен мне за то, что я ее не покидаю. Она, бедная, не виновата, что такой родилась; лаодикиянин тоже, наверно, был не виноват. Отчего бог не дал ему больше мужества? Это было бы лучше, чем поносить его за трусость.

Джек негромко засмеялся.

— Зато уж тебя никто не обвинит, что ты «такой родилась», дорогая.

С прогулки они возвращались как старые друзья, обсуждая планы Джека на будущее. После смерти Елены впервые он был так откровенен.

Весь следующий месяц был для Джека праздником. Он не так много работал, и днем они с Молли, веселые и счастливые, бродили по Вестминстерскому аббатству или по Национальной галерее. Правда, иной раз им не удавалось избавиться от Милдред Пеннинг, и тогда вся их радость увядала под ее холодным, любопытным и неодобрительным взглядом. Однажды, чтобы улизнуть от нее, Молли предложила ближайшую субботу провести у Джека. Выдержав недолгую, но бурную сцену с миссис Пеннинг, брат и сестра взобрались на империал омнибуса без провожатых.

— Теперь она, пожалуй, напишет дяде и нажалуется на тебя, — сказал Джек.

Молли пожала плечами.

— Очень может быть. Я многим пожертвовала для дяди, но я не собираюсь ради него отказываться от моего единственного брата — и чем скорее он это поймет, тем лучше. Он посердится, да и уступит. Он всегда уступает, когда видит, что я твердо стою на своем.

Джек достал ключ от входной двери, и сердце его забилось быстрее. Наконец-то сбывается его мечта, они с сестрой станут близки и дружны, он так этого ждал, так добивался! Хоть раз она посидит у его очага без посторонних, хоть раз он почувствует по-настоящему, что у него есть сестра.

— Входи, Молли; видишь, у меня только одна комната. Смотри-ка, миссис Смит затопила камин! Очень мило с ее стороны.

Тут он отступил на шаг и в изумлении застыл на пороге.

На ковре перед камином, следя за игрой пляшущих на потолке теней, растянулся Тео. Жаркий отсвет пылающих углей сверкал на его волосах, озарял гибкие, сильные руки с припухшими кончиками пальцев, своеобразные, неправильные очертания лба и подбородка. Казалось, он нежится у огня, как змея на солнцепеке.

— Здравствуй, Джек!

Даже в первую минуту, еще не опомнясь от удивления, Джек — в который раз! — отметил неизменную грацию Тео, непринужденную легкость движений. Он всегда поднимался на ноги без малейшего усилия. Вот и сейчас словно не с полу вскочил, а просто переменял одну изящную и удобную позу на другую.

— Моя сестра, — представил Джек, — Теодор Мирский.

Собственный голос показался ему бесцветным и резким. Он сразу увидел, каким холодным, жестким стало лицо Молли: она мгновенно замкнулась в себе; и он ощутил на душе свинцовую тяжесть.

— Я думал, ты в Вене, — сказал он.

— Иоахим не мог приехать, и меня телеграммой попросили завтра утром дать за него концерт в Сент-Джеймс-холле. Я так обрадовался случаю тебя повидать. Послушай, Джек, ты прекрасно выглядишь, я никогда тебя таким не видел — и таким надутым тоже! Ты мне не рад? Мисс Реймонд, если я тут лишний, вы можете меня выгнать.

— Боюсь, что лишняя тут я, — сказала Молли. Голос ее прозвенел, как льдинка, холод пробрал даже Тео. Испуганно поглядев на Молли, он пробормотал какие-то вежливые, ничего не значащие слова, и все трое уселись, благопристойные, чопорные и приунывшие.

Джек выбивался из сил, пытаясь сгладить странную неловкость, сковавшую его гостей. Но, переводя взгляд с Молли на Тео и снова на Молли, он понял, что это безнадежно. Эти двое — единственно ему дорогие, те, кому отдана вся его нежность и любовь, — были как два полюса: музыкант, полуангел, полудитя, которому он, Джек, должен быть неизменно преданной матерью и нянькой, защитником и рабом, — и еще не сложившаяся, непримиримо резкая и пылкая девочка-пуританка, которая держит его на почтительном расстоянии и ради которой он готов умереть. Нерасторжимые узы сковали его с обоими, и ему казалось, что их взаимное отталкивание разорвет его на части.

Тщетно он снова и снова заговаривал о каких-то пустяках — все его жалкие попытки потерпели неудачу, и он поднял глаза от рдеющих углей, с отчаянием чувствуя, что надо как-то прервать молчание, пока оно не стало невыносимым. В лице Тео он видел непонятное волнение, лицо Молли оставалось хмурым и непроницаемым. Джек огляделся по сторонам — и на глаза ему попался футляр со скрипкой, лежавший на диване.

— Сыграй, Тео! — попросил он. — Моя сестра тебя еще не слышала.

Тео тотчас поднялся и вынул инструмент. Казалось, на душе у него немного полегчало.

— Что же сыграть? — спросил он, опять уютно устраиваясь на ковре и

прижав скрипку подбородком. — Хочешь народные песни? Они не требуют аккомпанемента.

— Пожалуйста, славянские. Ты когда-нибудь слышала польскую народную песню, Молли?

— Ты же знаешь, я никогда ничего не слышала.

Она откинулась на спинку стула и потянула к себе экран; в полутемной комнате ожили негромкие, протяжные народные песни, словно бесплотные призраки мелодий, давным-давно преданных забвению, а Молли слушала, и на лбу ее прорезалась морщинка, на лицо легла тень, и глаза стали огромные и печальные.

Тео доиграл и опустил скрипку на колени.

— Джек, — сказал он, — помнишь, перед смертью мама говорила нам о крокусах? Вот я и... мне в последнее время все представляется эта ее фантазия, хочется выразить это в музыке. Наверно, это будет для оркестра, сам еще не знаю. Но какие-то отрывки я непременно хочу тебе сыграть. Мисс Реймонд, вы когда-нибудь смотрели на крокус? Вам случалось смотреть на него внимательно?

— Да, — отозвалась из-за экрана Молли. — Но не часто. Лютиками и незабудками можно любоваться хоть каждый день, от них только спокойнее и веселее на душе. Но я боюсь цветов, у которых три листа острых, точно копья. Они как ангел с огненным мечом, а все врата души моей замкнуты.

Брат изумленно посмотрел на нее: ему почудился голос Елены. Молли повернулась, и теперь огонь камина озарял ее лицо. Они с Тео молча смотрели друг на друга долгим взглядом, тревожным, пытливым и ненасытным, так смотришь в бездонную пропасть, — и страшно, и не оторваться.

Тео заиграл очень тихо, все не сводя глаз с лица Молли. Немного погодя он, сам того не заметив, стал импровизировать: время от времени он замирал с поднятым смычком и начинал говорить — негромко, размеренно. Тихий плач и смутный, приглушенный ропот скрипки, трепетные отсветы огня, убогая, тесная комната — все слилось, отодвинулось куда-то. И слушатели и музыкант видели и слышали только одно: фантастических воинов со сверкающими копьями, необозримое грозное войско, идущее в бой.

Потом все смолкло. Тео сидел, низко наклонив голову и слегка вздрагивая, скрипку он так и не выпустил из рук, Молли вновь отодвинулась в тень и не шевелилась, точно уснула с открытыми глазами. Джек поднялся, чтобы зажечь лампу, он первым нарушил молчание.

— Знаешь, старик, — сказал он, — не худо бы тебе изредка

вспоминать об одном.

— Да? — рассеянно пробормотал Тео. Он все еще витал где-то в облаках.

— Мы все-таки тоже люди и тоже способны что-то видеть, когда ты раскрываешь нам глаза, хоть мы и простые смертные, а не венчаные небом избранники.

Молли отшатнулась, точно он ее ударил. Тео вздрогнул, выпрямился и посмотрел на Джека почти с ужасом.

— Венчаные... как ты можешь! Только потому, что я вижу... воображаю... Неужели ты не понимаешь, что я отдал бы и скрипку и все на свете... лишь бы быть как ты, жить и действовать... а не только фантазировать! Кто же избранник — тот, кто видит в цветах воинство господне, или тот, кто и сам — воин? А что я такое? Только скрипка!

Он отвернулся, в его дрожащем голосе слышалась горькая обида и, может быть, еле сдерживаемые слезы. Молли медленно подняла голову и посмотрела на брата. Лицо его было строго, даже сурово; но тут он нечаянно увидел в зеркале свое отражение и расхохотался, как мальчишка. Молли вдруг с болью подумала, что в детстве она никогда не слышала, чтобы он так смеялся.

— Ну и фантазия у этого артиста, правда, Молл? Это я-то похож на крокус, с моей-то рожей?! Тео, сынок, поставь-ка чайник на огонь, пора пить чай. И не будь, пожалуйста, таким олухом. Стойте, а куда девалось масло? И печенья тоже не видать. Ты что, все уплел?

Он безуспешно шарил в буфете.

— Нет, не все, хозяйской кошке тоже досталось. Мы тут пировали, дожидаясь тебя. И это она насорила на полу, я был такой голодный, что ни крошки не обронил: понимаешь, я утром в Париже позавтракал, а с тех пор ничего не ел.

— Почему же ты не перекусил на пароходе?

— Денег не было, оставалось только на извозчика, да еще два пенса лишних. Хотел я взять булочку за пенни, но у официанта был уж очень неприступный вид.

Джек сердито обернулся к нему.

— А что случилось с последним чеком Гауптмана?

— Я... право, не знаю.

— Зато я знаю, — мрачно сказал Джек. — В другой раз, когда к тебе явится достойный внимания проситель и растрогает тебя своей горькой участью, пришли его ко мне, я постараюсь, чтобы он оставил и тебе хоть что-нибудь. У тебя всегда благие намерения, Тео, но ты юродивый, и нельзя

давать тебе в руки чековую книжку. Ладно, посидите смирно, я принесу чего-нибудь поесть. Придется тебе, Тео, переночевать у меня, а завтра пошлешь Гауптману телеграмму и попросишь еще денег.

И он вышел, а Тео и Молли остались у камина и умолкли. Обоих снова, как час назад, сковало неодолимое смущение.

— Вы знаете моего брата лучше, чем я, — неожиданно сказала Молли, серьезно глядя на Тео. — Я не поняла, что вы прежде хотели сказать.

Тео улыбнулся, но тотчас лицо его стало печально.

— Это трудно объяснить, но, когда вы его лучше узнаете, вы и сами поймете. Наверно, я хотел сказать, что он... не отдает себе отчета...

— Отчета?

— Да, он существует и действует по каким-то своим внутренним законам, а не потому, что так предписывают установленные кем-то нравственные правила и нормы. Не понимаете? Ну вот... взять хотя бы чувство справедливости: для Джека это не добродетель, которую надо в себе воспитывать, для него это врожденная страсть, вечная и неутолимая, как для меня музыка. И от этого он мне кажется каким-то чудом, ничего печальнее я не знаю. Он всю жизнь будет жаждать справедливости, а ведь ее нет на свете.

Он помолчал минуту, не глядя на Молли, потом спросил чуть слышно:

— Итак, все врата души вашей замкнуты?

Молли встала, подняла руки, словно хотела остановить его, но тотчас бессильно их уронила и отвернулась; скорбное равнодушие охватило ее.

— Да, все, и ни у кого нет ключа.

Она отошла к окну и остановилась, не оборачиваясь. Так и застал ее Джек, войдя в комнату с бумажными свертками в руках, украдкой вздохнул и поставил варить яйца. Ему едва не удалось вновь обрести сестру; и надо ж было Тео спугнуть ее в ту самую минуту, как душа ее начала робко раскрываться! А теперь она опять ушла в свою раковину, точно улитка. Она уедет назад в Порткэррик такая же чужая ему, как приехала, и он утратит друга, в котором так нуждается, по вине друга, который нуждается в нем.

ГЛАВА XII

За те месяцы, что он провел в Вене, Джек почти не имел вестей о сестре. Простясь с нею на Пэддингтонском вокзале, он унес в душе надежду, что дружба, зародившаяся пока она гостила в Лондоне, будет расти и расти; но едва Молли вернулась в Порткэррик, она сразу впала в прежний вежливо-отчужденный тон. Писала она редко, мало и невыразительно, как школьница. А через некоторое время письма совсем перестали приходить.

От того, что в памяти Джека был жив короткий счастливый месяц взаимного доверия, разочарование его оказалось еще горше. Он достаточно глубоко понял сестру, и у него не оставалось сомнений, что она понапрасну губит силы души и ума в гнетущей затхлости Порткэррика и при этом сама сознает, какая там царит скудость мысли, ложь и лицемерие. Довольно было посмотреть на ее лицо, чтобы увидеть, как она неудовлетворена и несчастлива, а у него были тому и другие доказательства. Быть может, если бы не Тео, он сумел бы помочь ей, вырвать ее из дома викария, где самый воздух иссушал душу, или хотя бы поддержал ее в неравной борьбе за какую-то долю независимости, за жизнь более достойную и полезную, не столь ограниченную тесными рамками. Но бедняга Тео, самое кроткое, счастливое и беззаботное существо на свете, ненароком все погубил. Казалось, с первой же минуты он внушил Молли пугливую, но неукротимую неприязнь, — он, Тео, который мигом заводил дружбу с каждой бездомной собакой и на которого за всю его светлую, беззаботную жизнь ни одна живая тварь не посмотрела иначе, как с нежностью.

Из Вены Джек поехал в Эдинбург, где ему предстояло получить ученую степень. Он ее получил вполне достойно, хотя и без особенного блеска, а затем вернулся в Лондон, — здесь он хотел поступить врачом в больницу, и это ему быстро удалось. Да и не приходилось опасаться, что для него не найдется работы: несколько профессоров, знавших его еще студентом, давно обещали замолвить за него словечко, если он захочет практиковать. Ему предложили два места на выбор, и он предпочел то, где жалованья платили меньше, зато можно было большему научиться; к тому же здесь он не обязан был жить при больнице.

Он снял убогую квартирку в Блумсбери и работал, как ломовая лошадь, стараясь заполнить все свое время самозабвенным трудом и уставать до совершенного изнеможения, чтобы не так чувствовать весь

ужас и пустоту одиночества. Он был точно человек, который, входя из темного коридора в ярко освещенную комнату, спешит захлопнуть дверь в страхе, как бы за ним не протянула косматые лапы тьма. В свое время Елена спасла его от необоримой власти страха, при ней он исцелился и забыл о своем проклятии; но теперь он остался один — и прежний ужас дотянулся до него ледяными пальцами снов и воспоминаний и застиг его врасплох. За работой Джек ничего не боялся, но ему страшно было встретиться лицом к лицу сразу с двумя врагами — досугом и одиночеством.

А одинок он был бесконечно. Тео отправился в концертное турне по Америке, после чего ему предстояла еще поездка в Австралию и Новую Зеландию; он должен был вернуться только через год. Впрочем, будь он даже в Лондоне, это мало помогло бы Джеку. Словно какая-то тень пала на их дружбу; они все так же искренне и глубоко любили друг друга, но чувство это у Тео омрачалось какой-то тревогой, постоянным внутренним недовольством, а Джек с тайной печалью все яснее понимал, что они слишком разные и он просто не способен понять Тео. Вот Елену он всегда понимал...

В начале марта над Лондоном разбушевалась непогода; ветер, ливень и неожиданные холода повлекли за собою много бед и болезней, и в больнице все работали не покладая рук. Однажды поздно вечером Джек устало брел домой под проливным дождем, который так и хлестал длинными плотными жгутами, зловеще поблескивавшими в неверном свете фонарей, и вдруг заметил женщину в мокром насквозь плаще, хлопавшем на ветру, — цепляясь за перила, она брела мимо какого-то подвала. Джек двинулся через улицу, чтобы помочь ей одолеть яростный встречный ветер, но, пока он переходил мостовую, женщина повернула за угол и скрылась из виду.

Наконец он добрался до дому, переоделся во все сухое и сел у дымившего камина, дожидаясь обеда. Должно быть, оттого, что он устал и продрог, ему в этот вечер было труднее, чем обычно, стряхнуть с себя уныние, всегда готовое наброситься на него, как хищный зверь из засады, если он не остережется. Джек сидел, ничего не делая, что случалось с ним очень редко, и слушал, как злобно шипят капли дождя, падая через каминную трубу на раскаленные уголья.

— Вас спрашивала какая-то женщина, — сказала ему хозяйка, внося поднос с едой.

— В такую погоду? Кто же?

— Она не захотела назваться, сказала, что еще зайдет. Она все ходила взад-вперед по улице и дожидалась вас. Похоже, что она совсем больна.

— Больная — и в такой вечер бродит по улице? А как она выглядит?

— Не разглядела я; она вся закутана и промокла до нитки. Чудная какая-то — неряха неряхой, вся в грязи, дрожит, волосы висят космами, а одета как благородная. Мне так думается — она малость не в себе.

— А может быть, с нею несчастье? Наверно, что-то серьезное заставило ее...

С улицы кто-то постучался — неуверенной, дрожащей рукой.

— Это она и есть, — сказала хозяйка. — Впустить ее, сэр?

— Ну конечно.

Женщина вошла, возвестив о себе свистящим шумом мокрого, обвисшего платья, и остановилась, едва переступив порог, там, где было темнее. Хозяйка быстро, подозрительно глянула на нее, покачала головой и вышла. Джек поднялся.

— Как жаль, что в первый раз вы меня не застали, — начал он.

Он не мог рассмотреть посетительницу: она заслонилась рукой, словно свет лампы ослепил ее; но он узнал плащ, который недавно видел на улице.

— Вы совсем промокли, — сказал Джек. — Вы хотели меня видеть...

Он запнулся и отступил на шаг. Женщина медленно двинулась к нему, спотыкаясь и пошатываясь, как слепая. Вода струилась с ее платья, с плаща, с густых волос, в беспорядке упавших на плечи. Она так и не откинула капюшон плаща, но руку опустила, и Джек увидел ее лицо — смертельно бледное, изможденное, почти безумное, и ее открытый ясный лоб.

— Молли! — вскрикнул он.

Молли откинула капюшон и пустыми глазами уставилась на брата. Она беззвучно шевелила губами, не сразу ей удалось заговорить.

— Да, — сказала она наконец, — ты был прав.

— Молли! Как ты...

— Дядя меня выгнал. Ты верно говорил. Я пришла к тебе... Больше некуда. Можно у тебя переночевать... пока я что-нибудь придумаю... устрою... я устала... спать... ничего не вижу...

Она уже не говорила, а бормотала невнятно, чуть слышно. Джек подхватил ее под локоть.

— Сядь. После расскажешь. Ты промокла насквозь, надо скинуть все это и...

Молли словно очнулась и вырвала руку.

— Не сяду, пока ты не поймешь. Может, и ты непустишь меня в дом... Слушай, он выгнал меня, потому...

— Бог с тобой, девочка, не все ли мне равно! Сними-ка плащ, из него

можно выжать ведро воды.

Он уже расстегивал на ней плащ. Вдруг Молли высвободилась, рывком сбросила плащ и шагнула к свету.

— Смотри, — сказала она.

Добрую минуту Джек молча смотрел на нее, и вдруг понял. Она медленно, угрюмо отвернулась и наклонилась за плащом, валявшимся на полу. Джек выхватил у нее из рук эту мокрую тряпку.

— Бедная ты моя! — воскликнул он. — И во власти дяди!..

В порыве нежности и жалости он поднял ее и отнес на диван, покрывая поцелуями ее руки. Но его волнение не нашло отклика, сестра оставалась безучастной в его объятиях и только слегка вздрагивала. Через минуту Джек опомнился.

— Ты совсем заоченела! Надо сейчас же все это скинуть. Подожди, я запру дверь и выйду в спальню, а ты тут у огня переоденешься. Я принесу что-нибудь сухое, придется тебе пока обойтись моим бельем и одеялами. Дай я прежде всего сниму с тебя башмаки. Наверно, придется их разрезать.

Придвинув диван поближе к огню и уложив Молли, закутанную в одеяло, Джек побежал вниз — надо было достать грелку, горячего молока и коньяку. Когда он вернулся, Молли лежала в каком-то оцепенении — это был не обморок и не сон, но она слишком обессилела от холода и усталости и просто не понимала, что ей говорят. Немного погодя ее синие губы слегка порозовели. Она открыла глаза и пристально посмотрела на брата.

— Джек, — сказала она, — ты все понял?

Джек сидел на краю дивана, растирая ей руки. Он наклонился и поцеловал сначала одну руку, потом другую.

— Да, родная.

— И ты... не прогонишь меня?

Он отвел мокрые волосы с ее лба.

— Ну и дурочка! Выпей горячего молока и не говори глупостей.

— Нет, нет! — Молли отстранилась и села, глаза ее лихорадочно блестели. — Ты хочешь быть милосердным, как тетя Сара. Она вчера вступилась за меня... говорила дяде о женщине, взятой в прелюбодеянии, и о кающейся грешнице^[13]... Мне не в чем каяться и нечего стыдиться. Ты должен это понять прежде, чемпустишь меня в свой дом. Я вольна распорядиться своей жизнью, и если я предпочла загубить ее и заплатить дорогой ценой...

— Ты расскажешь мне об этом после, дружок. Рассуждения подождут, а ужин ждать не может. Пей, пока не остыло.

Молли жадно схватила чашку и попыталась пить. Но тут впервые

самообладание ей изменило. Джек опустился на колени перед диваном, обнимая сестру, и ему казалось, что уже долгие часы она рыдает у него на плече. Наконец она затихла, и он с ласковой непреклонностью заставил ее немного поесть.

— Когда ты ела в последний раз?

— Не... не помню. Вчера. Они узнали днем... кажется... а может, вечером?.. Ах да, было темно. Ночью я искала воды, в поле такой холод, а в горле жгло... От ветра, что ли... Я нашла лужу... но вода отдавала мертвечиной. Все отдавало мертвечиной... и дождь со снегом... голова кружилась... я столько раз падала... оттого у меня и руки исцарапаны...

— И ты всю ночь шла? — Джек сдерживался изо всех сил, голос его прозвучал глухо и хрипло.

— Да... я... к утру добралась до Пенрина, поспела на ранний поезд... знаешь, на тот, дешевый. Повезло, правда? На скорый не хватило бы денег.

— Значит, он выгнал тебя из дому ночью, в такую погоду и без гроша?

— Это потому, что я не стала ему отвечать. Тетя Сара дала мне несколько шиллингов, у нее случайно оказались. Она так плакала, бедная. И у меня было еще полсоверена. На билет не хватило трех пенсов, но у меня нашлись почтовые марки.

— Что это у тебя? — прервал Джек.

На виске у Молли вздулся багровый синяк; если бы удар пришелся дюймом ниже, он мог бы оказаться смертельным. Минуту она медлила в нерешительности, потом молча обнажила правую руку. Ниже локтя темнели пятна — следы пальцев.

— Я... я думаю, он не хотел, — тихо сказала Молли и опустила рукав.

— Он тебя ударил? — спросил Джек как прежде глухим, безжизненным голосом.

— Он старался заставить меня отвечать. Я отказалась сказать ему... кто отец. Мне казалось, он теряет рассудок. Он все повторял: «Кто?» — и вывертывал мне руку сильнее и сильнее. Тогда тетя Сара хотела его остановить... а он сбил меня с ног...

— Хватит, замолчи.

Голос Джека прозвучал так странно, что сестра вскинула голову. Впервые она видела его взбешенным, и слова замерли у нее на губах.

— Не говори больше о дяде, — немного погодя начал Джек, как всегда негромко и спокойно. — Ты ведь знаешь, однажды мы с ним едва не убили друг друга; а теперь мне надо заботиться о тебе. Так что условимся никогда о нем не вспоминать. Сейчас я тебе постелю, родная, а завтра обсудим, как быть дальше.

— Но где же ты будешь спать, если я займу твою комнату?

— Тут, на диване, конечно. Неделю-другую поживем так, а потом подыщем квартиру попросторней. Как только ты немного оправивишься, купишь себе, что надо, из платья.

— Но я не могу сесть тебе на шею, Джек. Переночевать тут разок — другое дело, но завтра же мне надо найти какую-нибудь работу.

— Дорогая, найти сразу работу не так-то просто, а если бы и удалось, ты сейчас все равно не в силах работать. Отдохни несколько дней, а там видно будет.

— Ох, ты не понимаешь! Еще целых два месяца... а потом... Как по-твоему, Джек, возьмут меня в приют?

Он похолодел от ужаса.

— Молли, неужели ты меня бросишь?

— А что же, остаться? Быть тебе обузой, пока не родится ребенок? Нет, ни за что!

— Но почему? Значит, тебя там восстановили против меня, что ты не можешь прийти ко мне даже за помощью?

— Как видишь, я пришла. Сама не знаю почему. Я... отчего-то мне казалось, что ты меня не выгонишь. Если бы выгнал, я бы...

— По-твоему, у меня так много в жизни радостей, что я посмею прогнать солнечный луч, если он заглянет в мою конуру? Молли, Молли! Столько лет мне пришлось жить без тебя. И вот ты здесь — и сразу хочешь уйти. Я не могу от тебя отказаться. Остайся хоть до тех пор, пока все это не кончится. Потом уйдешь, если уж непременно захочешь, а все-таки я хоть немного побуду с тобой.

— Ты правда хочешь, чтобы я осталась? Тебе это нужно? Или ты просто меня жалеешь? Мне ничьей жалости не надо!

Джек засмеялся и крепко обнял ее.

— Значит, остаешься?

— погоди! — Молли оттолкнула его, и лицо ее вдруг окаменело. — Если я останусь, обещаю, что никогда не спрошу, кто он, и вообще ни о чем не станешь спрашивать.

— Молли, я не стану смотреть в зубы дареному коню! Если он когда-нибудь уведет тебя от меня, я сам увижу, кто он. А если нет...

— Этого не будет. Он меня забыл. Джек снова помрачнел.

— Забыл? И переложил на твои плечи всю...

— Замолчи! — крикнула Молли, и глаза ее сверкнули. — Я его люблю. Джек наклонил голову и умолк, но внутри у него все кипело.

— Никогда не говори о нем дурно, я сама на это пошла. Он пожелал

меня, и я отдалась, я не торговалась, не набивала себе цену, не просила его жениться. Я дала ему радость и расплачиваюсь за это. Почему бы и нет, раз я так хочу? Я знала, что делаю.

Она умолкла, тронула кончиками пальцев разбитый висок.

— Ох, как болит голова! Я даже плохо вижу... Послушай, Джек, если под конец я ослабею и смалодушничая и стану его винить, не верь ни одному моему слову! Помни это. Мне не на что жаловаться... не на что...

На глазах Молли вдруг выступили слезы. Обеими руками она обхватила шею брата.

— Джек, я такая дрянь! Приплелась к тебе как голодная, бездомная собака, а когда ты меня приютил, еще ставлю тебе какие-то условия.

— Родная, я согласен на любые условия, только не уходи от меня.

— Тогда еще одно условие... ужасное.

Она сжала его руки в своих, горячих, как огонь.

— Обещай, если в мае я умру, а ребенок останется жив, — усынови его, убей, делай что хочешь, но только спаси его от дяди.

Джек торжественно поцеловал ее в лоб.

— Об этом и просить не надо.

— Наверно, тебе и не придется исполнить это обещание. Наверяд ли... — Голос ее оборвался. Потом она спокойно договорила: — Нет, надежды мало. Мы, Реймонды, до ужаса выносливы.

— И порой до ужаса одиноки. Постарайся выжить, Молли.

Она внимательно посмотрела на него большими печальными глазами.

— Разве ты уж так одинок? Я думала, что... у тебя есть друзья.

— У меня есть Тео. Но Тео...

Он не договорил и невидящими глазами уставился на огонь. Потом, вздрогнув, очнулся.

— Молли, милая, ты вся дрожишь! И о чем я только думал, почему сразу не уложил тебя в постель!

ГЛАВА XIII

— Джек, — сказала Молли, входя в тесную комнату брата, — оставь ты свой микроскоп хоть на полчаса, у тебя вид совсем измученный.

Джек отвел покрасневшие глаза от препаратов. Он еще не отрывался от них с тех пор, как вернулся из больницы. Субботними вечерами всегда столько времени и сил отнимал прием приходящих больных в переполненной амбулатории; а сегодня от сырого ноябрьского тумана, от удушливых запахов светильного газа, человеческого тела и несвежего белья Джек, при всей своей выносливости, чувствовал себя усталым до тошноты.

— Не вздумай приниматься за срезы, пока не пообедаешь, — сказала Молли. — И не сделаешь как следует, и голова разболится.

— Да я ничего, просто с амбулаторными больными трудно столкнуться. Погода мерзкая, да еще они говорят все сразу. Бедняги шлепают по грязи как ломовые лошади, и, конечно, все издерганные и злые. Я тоже пришел весь в грязи с головы до пят.

Молли обвила рукой его шею. Они прожили под одной крышей почти четыре года и привыкли понимать друг друга с полуслова, как умеют только близкие друзья. Никто, кроме Молли, не догадался бы по тому, как сжались губы Джека, что он не только устал, но и подавлен.

— Плохие новости? — тихонько спросила она, прильнув щекой к его волосам.

— Да нет, ничего. Очень глупо вешать нос, когда я получил наконец хорошую должность, да еще так повезло с конгрессом врачей!

— Наверно, в этом все дело. Когда мы жили впроголодь, меня вовсе так не волновали еженедельные счета, как теперь, когда у меня есть на хозяйство целых три фунта в неделю.

— Зря ты волнуешься, старушка. Через месяц мы расплатимся с последними долгами. Ты же знаешь, все трудное позади, и даже моя частная практика начинает процветать.

Молли засмеялась и поцеловала его.

— Поэтому ты и захандрил? Мы с тобой презренные обманщики, наше мужество годится только на тяжелые времена, а едва нам улыбнется удача, оно сразу улетучивается.

— Ты права, — серьезно сказал Джек. — Грош мне цена. Два года назад, когда малыш был болен, а в доме хоть шаром покати, я бы не стал расстраиваться из-за тумана и прочих мелочей. Я избаловался, Молли, и это

ты виновата. Нельзя так со мной нянчиться, а то я стану жирным и капризным брюзгой, — знаешь, как богатые старухи, у которых только и дела, что выдумывать себе всякие болезни.

— Нет уж, тогда я напущу на тебя Джонни. Он живо найдет тебе занятие.

— Да, но у меня сейчас и так работы по горло, а я тут бью баклуши. Для чего же меня приглашают на конгресс показывать мои препараты, если мне и показывать еще нечего. К пятнадцатому все надо приготовить и отослать в Эдинбург.

— Погоди-ка, — сказала Молли, все еще обнимая его за шею, — ты так и не сказал, что это у тебя за «прочие мелочи»? Твои больные?

— Да, больные тоже. И еще Тео.

— Ты утром получил письмо?

Она говорила ровным, спокойным голосом, склонясь над Джеком, так что глаз ее он не видел.

— Да, он меня очень заботит. Он сочиняет сюиту для струнного оркестра на темы польских народных танцев и пишет, что звуки обретают форму и цвет и все ночи напролет кружатся у его постели. И почерк у него опять нетвердый, а ты ведь знаешь, что это означает.

Большими печальными глазами Молли смотрела куда-то поверх головы Джека. Он вздохнул и продолжал устало:

— На этот раз он не пишет, кто она, но ясно, что влюблен. Как видно, без этого он просто не может творить. Не понимаю, как можно быть таким непостоянным.

Минуту они молчали, потом Молли мягко сказала:

— Что поделаешь, радуга тоже не отличается постоянством, но она чиста и прекрасна. Художник — большое дитя, он не замечает грязи, и она к нему не пристаёт.

— Тем хуже, — угрюмо перебил Джек. — Если бы он заводил пошлые интрижки со светскими кокетками, как другие преуспевающие музыканты...

— Тогда он не написал бы «Симфонию крокусов».

— Это верно, его музыка тоже стала бы пошлой. Зато никто бы не страдал. А так... Молли, мне больно за женщин, которые его любили. Вот хоть та девочка — австрийская принцесса, — помнишь, в тот год, когда родился Джонни? Я долго с ней разговаривал. Бедняжка всерьез верила, что Тео полюбил ее на всю жизнь, а еще хуже, что он и сам в это верил. Наверно, она оправилась от удара и вышла за того, кого выбрал для нее отец, но ты думаешь, все это для нее прошло бесследно? Он разбил ее

юность, а потом нашел себе другую игрушку.

— Так сделал бы и Джонни, если бы дать ему в руки хрустальную вазу. Это право младенцев и богов, и всех беззащитных и избранных: они берут нашу радость и разбивают ее вдребезги, а мы потом утешаемся осколками.

Брат круто обернулся и обнял ее. Несколько минут оба молчали.

— С тех пор как родился малыш, ты стала добрее и снисходительней, Молли. Иногда ты напоминаешь мне маму.

— Мать Тео?

— Да. И богоматерь. Мама всегда напоминала мне мадонну, как ее понимают католики: мать всех людей.

— А так как я мать Джонни... могу ли я быть к кому-то недоброй, Джек, когда у меня такой ребенок?

Она под села к огню и придвинула корзину с одеждой, ждавшей починки. Джек, насвистывая, склонился над микроскопом, а Молли озабоченно принялась штопать чулок; обоим больше не хотелось разговаривать.

— Мамочка! — жалобно позвал из другой комнаты детский голосок. — Мой дом сломался!

Молли встала и распахнула створки двери. Кубики рассыпались по ковру, а среди развалин сидел Джонни — глаза круглые, несчастные, вот-вот заплачет. Мать подхватила его на руки и понесла к Джеку.

— Ничего, сынок, завтра построим другой. Поиграй пока здесь, скоро будешь пить чай. Только смотри не толкни стол, Джек работает.

Джонни вывернулся у нее из рук и подбежал к столу, голубые, полные любопытства глаза его так и сияли. У него было ангельское личико и повадки заправского деспота.

— Дядя, дай посмотреть! — сказал он, протягивая пухлую лапку к микроскопу. — Дядя!

Это слово было новинкой в его словаре, и он им гордился. Горничная Сьюзен только что ему растолковала, что маленьким мальчикам не полагается называть дядю просто по имени.

Джек быстро поднял левую руку и впился в нее зубами. Но тотчас вспомнил, что даже боги не чужды милосердия и что детство его миновало.

— Дай посмотреть! — властно повторил Джонни. Он не привык ждать.

— Не мешай Джеку, милый, — сказала сыну Молли. — Он занят.

— Он мне вовсе не мешает, пусть побудет со мной. Джек наклонился и посадил ребенка к себе на колени.

— Что ты хочешь посмотреть, приятель? Сегодня смотреть-то не на что.

— Пускай зверюшки скачут.

— Какие зверюшки?

— Это он про инфузории, — пояснила Молли. — В прошлый раз ты ему показывал каплю воды.

— Вот оно что. Нет, зайчонок, сегодня у меня нет воды из пруда, а в воде из-под крана зверюшкам скакать не разрешается.

— Почему?

— Чтоб они не вскочили тебе в рот, а то у тебя заболит горло. Ну-ка, влезай на свой стул и садись рядом, да смотри не толкни меня под руку. А, чтоб его, этот винт!

Джек ниже пригнулся к микроскопу и, хмурясь, стал его подкручивать. Глава семьи смотрел на него критически.

— Неправильно вертишь, — строго сказал он.

— Вот это верно, сынок. Но мне очень трудно вертеть правильно, когда ты головой заслоняешь свет.

— Кажется, Сьюзен идет, — заметила Молли. — И, по-моему, к чаю у нас сегодня горячие булочки. Давай-ка поскорее вымоем наши грязные лапы.

Она отворила дверь, и Джонни, сияя в предвкушении булочек, побежал к Сьюзен. Через минуту из кухни донесся восторженный визг.

— Молли, — сказал Джек, ниже склоняясь над микроскопом, — прошу тебя, не позволяй ему называть меня дядей.

Эпидемия дифтерии, охватившая юг Англии, достигла Корнуэлла. В Порткэррике и окрестных деревушках дети мерли как мухи. Осень была ненастная, море беспокойно, трудное время для рыбаков. Много жизней унесли бури; а скудный улов, который было нелегко свезти на рынок по раскисшим дорогам и исхлестанной ветром равнине, приносил гроши — слишком жалкую награду за все труды и опасности. С тех пор, как начались сентябрьские штормы, нищета, горе и усталость тяжким грузом давили беззащитные рыбацьи деревушки, теперь, на рождество, нагрянула еще и болезнь.

Если бы не викарий Реймонд, жителям Порткэррика пришлось бы совсем плохо. Доктор Дженкинс — уже немолодой, усталый, обремененный заботами о многочисленном семействе при весьма скромных доходах, — выбивался из сил; но хоть и отзывчивый и добросовестный, он не мог бы устоять под натиском бедствия, охватившего

всю округу, если бы не поддержка человека более стойкого и выносливого. Не кто иной, как викарий, находил добровольных помощников, и собирал пожертвования, и шагал по набухшему водою, точно губка, вереску от одного домишки к другому, навещая больных и обездоленных, вникая в каждое несчастье, подыскивая временное прибежище для братьев и сестер заболевшего ребенка, чтобы уберечь их от заразы. В эти черные дни он был на ногах с раннего утра и до глубокой ночи; он совсем поседел и двигался уже не так быстро, как в ту пору, когда под его кровом жил Джек, но в остальном почти не изменился, держался по-прежнему прямо и был все так же непреклонен.

И миссис Реймонд оставалась все той же преданной женой. Слишком слабая, грузная, страдающая астмой, она уже не могла ходить по камням и болотам, как ее супруг, а мужества ей не хватало не только для других, но и для себя; она не смела бросить вызов богам и не пыталась утешить мать, потерявшую ребенка; но то немногое, что могла отдать эта нищая духом, она отдавала покорно, не жалуясь. Она уже в который раз перелицевала свое старое черное шелковое платье, чтобы оно послужило еще год, и робко вложила в руку викария деньги, которые откладывала на покупку нового платья: «Это на уголь и одеяла, Джозайя». По утрам она стряпала супы и кисели для больных, днем вязала для них и шила, но раздавать эти дары приходилось самому викарию. В старости, как и в молодые годы, она укрывалась за спиною своего повелителя и на каждом шагу испрашивала его одобрения, — кроткая Гризельда^[14], состарившаяся в покорности,— и в глубине ее глаз все еще таился вечный страх.

Дождь, надрывавший душу, наконец перестал, и однажды утром»-накрывая стол к завтраку в безукоризненно опрятной унылой комнате, миссис Реймонд почти с удивлением увидела на скатерти солнечный зайчик.

Прежде всего она возблагодарила бога за то, что он не остался глух к молитвам: если дожди наконец прекратятся, может быть, и болезнь пойдет на убыль. А потом привычно, как делала всю жизнь, расстелила на полу газеты, чтобы от солнца не выгорел ковер.

К обеду викарий привел санитарного инспектора из Труро; они наскоро перекусили, им надо было еще присутствовать на заседании комитета, а затем проверить, все ли дома содержатся в должной чистоте.

— Должно быть, я вернусь поздно, — сказал викарий жене. — После обхода мне надо пройти в Зеннор Кросс, там опять умер больной.

— Поберегите свои силы, — заметил гость. — Что будет с Порткэрриком, если вы не выдержите?

— Надеюсь, что не выдержит дифтерия, — храбро ответил викарий, — мы очень скоро с ней покончим, если милосердный господь ниспошлет нам хорошую погоду.

Инспектор одобрительно кивнул. Он и сам работал не покладая рук и любил добросовестных тружеников — неутомимость викария приводила его в восторг.

— Замечательный старик! — сказал он однажды доктору Дженкинсу. — С виду сухарь сухарем, но какая энергия!

И теперь он с неподдельным восхищением смотрел на это высохшее суровое лицо.

— Кстати, о дифтерии, — заговорил он. — Вы, случаем, не в родстве с доктором Реймондом из Блумсбери? Он в последнее время проводит опыты с возбудителями дифтерии, на днях я читал об этом в «Ланцете»; он должен выступить с докладом на конгрессе в Эдинбурге. Похоже, что его теория привлекает общее внимание.

Если бы инспектор обернулся к хозяйке дома и увидел ее испуганные глаза, он, конечно, замолчал бы; но он смотрел на викария, а в этом сером, без кровинки лице не дрогнул ни один мускул.

— Да, он нам родственник.

— Вот как? Поистине тесен наш мир! Прошлым летом я целую неделю жил в одном пансионе с доктором Реймондом; я отдыхал на южном побережье, а он приехал туда с сестрой — молодая женщина, вдова, если не ошибаюсь, и у нее ребенок, очаровательный мальчуган!

Тут только он заметил, как неестественно вытянулись и застыли лица хозяев, и умолк.

— Он нам родственник, — повторил викарий, — но мы незнакомы.

После этого разговор уже не клеился, и через несколько минут гость взглянул на часы.

— Кажется, нам пора.

В саду викарий вдруг остановился.

— Прошу извинить, — сказал он инспектору, — я забыл кое-что передать жене. Я вас догоню.

И он вернулся в дом. Жена стояла на том же месте, где они ее оставили, не шевелясь, не поднимая глаз.

— Сара, — начал он и замялся на пороге.

Миссис Реймонд вздрогнула, потом овладела собой и подошла к мужу.

— Ты что-нибудь забыл?

Он ответил не сразу, глядя в сторону:

— Я так мало бываю дома. Может быть, тебе тоскливо одной?

— Нет, Джозайя. Я привыкла к одиночеству.

— Да, верно. — Он опять помолчал. — А ты не хочешь... Тебя иногда могла бы навещать меньшая дочка доктора Дженкинса. Она славная, спокойная девочка, а ты всегда так любила детей...

Слова замерли у него на губах: жена отшатнулась, протянула руки, словно защищаясь, в ее расширенных глазах был ужас.

— Нет, нет, Джозайя! Не приводи сюда детей! Лицо викария окаменело.

— Сара, что ты хочешь сказать?

Минуту они молча смотрели друг на друга. У викария было больше твердости. Жена опустила глаза, старческие руки теребили юбку.

— Я... силы у меня уже не прежние... а от детей столько шуму...

Викарий и бровью не повел.

— Как тебе угодно, — сказал он вышел.

Она видела в окно, как он шел по лужайке — черное, мрачное пятно, режущее глаз в этот солнечный день; прямой, седовласый, священнослужитель с головы до пят, ни годы, ни позор так его и не согнули. Миссис Реймонд подседа к своему опрятному рабочему столику и принялась штопать ему носки.

Пробили церковные часы; подняв глаза, миссис Реймонд увидела, как распахнулись двери школы, и из них, смеясь, болтая, размахивая школьными сумками, гурьбой выбежали девочки. Она отложила работу.

— Что-то глаза у меня стали сдавать, — сказала она вслух, как будто в пустой комнате ее мог слышать кто-то, перед кем, как всегда, надо притворяться и соблюдать приличия. — От шитья побаливают. — И торопливо провела по глазам рукой.

Потом она встала, бережно, чтобы не помять, отодвинула белоснежную накрахмаленную занавеску и выглянула из окна. Дети бежали по лужайке; некоторые пробегали мимо, не взглянув на нее; другие, подняв голову, окидывали ее, старую, жалкую, одиноко стоявшую у окна, тем взглядом, каким она когда-то смотрела на Меченую.

Она съежилась, как съезживалась Меченая, когда кто-нибудь проходил по двору, и снова задернула занавеску. Но между сборчатым краем занавески и ставнем оставалась щель, и миссис Реймонд продолжала украдкой смотреть на детей. Все это были чужие дети, с холодными, неласковыми глазами; но у иных были нежные атласные щеки, кое-где обрызганные веснушками; и все они были проворные, быстроногие, и все голоса звенели смехом, а у одной девочки (но когда она проходила мимо, миссис Реймонд отвернулась) были густые золотисто-каштановые кудри,

которые искрятся на солнце, когда какая-то другая женщина расчесывает их, и отводит со лба, и перевязывает лентой.

Джонни опасно болен. Дифтерия. Плачет, зовет тебя.

Снова и снова Джек повторял про себя эти слова. Их выстукивали колеса поезда; в дребезжанье оконных стекол, в дыхании спящих соседей по вагону, в тяжких ударах чего-то, что больно стучало то ли в груди у него, то ли в мозгу, зачем-то опять и опять повторялись эти слова. Иногда этот неотступный припев на мгновение обрывался, и тогда Джек слышал другие слова, еле различимые из-за тех, первых, но не смолкавшие ни на миг:

Опоздаешь, опоздаешь, опоздаешь...

Среди окутанных сумраком полей промелькнуло в окне вагона неясное пятно — несколько прокопченных улиц, — это, конечно, Сент-Олбэнс. Теперь уже скоро. Но целая вечность прошла с тех пор, как за завтраком в Эдинбурге его застигла телеграмма Молли и он кинулся на вокзал, торопясь к первому поезду на Лондон. С тех пор могло случиться все что угодно. И зачем только он поехал на этот конгресс, зачем!

Джек поднял шторку и выглянул. Уже смеркалось, но зимой темнеет так рано... Кое-где на равнине чуть поблескивали островки снега.

До этого дня Джек и сам не понимал, что значит для него Джонни. В сущности, у него никогда не оставалось времени задуматься о своих привязанностях, он всегда был слишком занят: тут и больница, и микроскоп, и студенты, которых он брался готовить к экзаменам, чтоб свести концы с концами. Когда надо прокормить три рта и еще отложить хоть что-нибудь на ученье Джонни, не приходится брезговать случаем заработать несколько фунтов лишних. А если и выдавалось свободное время, Джек валился с ног от усталости, либо тревожился за своих больных, либо мчался в скором поезде через всю Европу на отчаянный призыв Тео...

Бедный Тео! Постоянные его трагедии с герцогинями и графинями почему-то всегда разыгрывались в самое неподходящее время, и всякий раз он так бурно их переживал. Всего лишь год назад он вместе с молоденькой и хорошенькой непонятой женой некоего лысого посланника пытался покончить с собой, закрыв раньше времени каминную трубу. Его прощальная телеграмма застала Джека в постели, больного инфлюэнцей, но он кое-как поднялся и все-таки поспел на почтовый поезд до Брюсселя. (Природа была очень любезна, когда наградила его лошадиной выносливостью.) Он приехал как раз вовремя: успел распахнуть окна, не пустил на порог репортеров, поддержал обоих взрослых младенцев сначала

лекарствами, а затем и утешениями и отеческими советами. А теперь они оба, наверно, и думать забыли друг о друге.

Опоздаешь. Опоздаешь...

Не жестоко ли, что это именно дифтерия — та самая болезнь, на которую за последние три года он положил столько сил и трудов, которую втайне надеялся одолеть. Он уже почти уверен, что напал на верный след и до открытия совсем недалеко; но какой толк в открытиях, если они не спасут ребенка, который тебе всего дороже. Какой толк в том, что дается слишком поздно?

Джек снова опустил шторку и, закрыв глаза, откинулся в своем углу. Он еще из Эдинбурга выехал усталый, а сейчас в голове точно паровой молот стучал. Надо хоть несколько минут посидеть спокойно и не вслушиваться в назойливый стук колес.

Опять лестница... дядя толкнул дверь, она заскрипела... каморка под крышей, скошенный потолок... две балки... Джек вздрогнул и открыл глаза. Опять он очутился в детстве, в Порткэррике, в комнате пыток. А ведь уже несколько лет его не мучил этот сон — тот самый, что преследовал его после смерти Елены. Он провел рукой по лбу — ладонь стала влажная.

Какая нелепость. Когда у тебя впереди столько дела, нельзя распускаться и дрожать от страха, словно Тео. Только бы ребенок выжил...

— Ваши билеты!

Дверь распахнулась, и Джек резко выпрямился; так вот оно что, кажется, во сне он пытался сторговаться с каким-то неведомым богом — обещал забыть Порткэррик, навсегда стереть из памяти каморку на чердаке, лишь бы малыш остался жив.

Сестра встретила его на площадке лестницы, которая завешена была простыней, смоченной в дезинфицирующем растворе. Лицо какое-то отрешенное, словно её неожиданно разбудили, и она еще не очнулась от сна.

— Молли, — начал Джек и осекся, потом повторил шепотом: — Молли?..

Она прислонилась лбом к его плечу.

— Ты опоздал.

Они вошли в комнату. Здесь было уже прибрано; затемненная абажуром лампа горела подле кровати, в которой лежал Джонни, точно большая восковая кукла с рассыпавшимися по подушке золотыми кудрями. В правую руку ему вложили букетик подснежников. Джек опустил на

колени у кровати и надолго застыл в молчании. Наконец он поднял голову и поцеловал холодные ручки мальчика. Поднимаясь с колен, он задел рукавом абажур и сдвинул его. Полоса яркого света упала на кровать, и в этом свете отчетливо выступил профиль мертвого ребенка. То был профиль Елены.

Джек замер. Тянулись нескончаемые минуты, а он все стоял и смотрел. Что-то в нем иссохло и обратилось в прах. В жизни совершаешь столько ошибок, а когда они откроются, понимаешь, что это совсем не так важно, да и ничто на свете не важно.

Что-то шевельнулось по другую сторону кровати. Молли. Джек поднял глаза, и их взгляды встретились. Она протянула руки, словно он ее ударил.

— Не надо так, это жестоко! Он хотел тебе сказать. Он не виноват, виновата я!

— Виноват я, — устало сказал Джек. — Я мог бы понять.

Он отошел к давно угасшему камину, прислонился к нему и вперил невидящий взгляд в холодную золу. Молли подошла к нему.

— Я не могла тебе сказать, родной, ты бы его возненавидел. Никто на свете не любит его по-настоящему, только ты и я, а меня он забыл. Если ты от него отвернешься...

Оя не договорила. Джек будто закаменел, лицо его оставалось все таким же суровым. Сестра обвила рукой его шею, как делала когда-то Елена.

— Не забудь, он не такой, как все. Если он и причиняет нам боль, несправедливо его осуждать: он как ангел или жаворонок, он просто не понимает, что значит быть перед кем-то в ответе. Не его вина, что он гений. Я родила ему ребенка, но ведь и он подарил мне свое дитя, свою первую симфонию. И если даже он в чем-то виноват, я давно простила. Должен же кто-то платить за его музыку.

Джек безнадежно покачал головой.

— Ты не понимаешь. Я думал не о тебе. Пока я жив, ты не одинока; и в конце концов ты взрослая и можешь не хуже других постоять за себя, насколько это возможно в нашем мире. Но мало ли что бывает — а если бы мы с тобой умерли, а ребенок остался... и попал бы в руки дяди... Неужели он ни разу об этом не подумал?

Молли прижалась щекой к его щеке.

— Родной, это зло и несправедливо и не похоже на тебя, ведь ты всегда был справедлив. Джонни это не грозило. Уж, наверно, либо ты, либо я сумели бы спасти его от такой участи, хотя бы каплей хлороформа. Во

всяком случае, судьба милостива: что бы там ни было с нами, а Джонни она пощадила. Джек, ты не имеешь права его возненавидеть, перед ребенком он не виноват. Он никому не сделал зла, только мне, а я никогда не жаловалась.

Джек вздохнул.

— Не бойся, — сказал он. — Ничто не изменится, ничто не может измениться. Он сын Елены, у него есть права на меня. Я должен снести и это.

Он круто обернулся: в дверь с улицы постучали.

— Кажется, телеграмма. Наверно, из Эдинбурга, сегодня вечером мне надо было там продемонстрировать кое-какие препараты. Это мне, Сьюзен? Нет, ответа не будет.

Он затворил дверь, и в комнате стало тихо.

— Из Эдинбурга? — спросила Молли и оглянулась. Джек стоял у стола, не выпуская из рук телеграммы. Услыхав ее вопрос, он обернулся, и у Молли сжалось сердце. Странное у него было лицо, едва уловимая горькая тень улыбки на мгновение тронула губы.

— Нет, — сказал он, — видно, опять что-то неладное какой-нибудь герцогиней.

Он протянул сестре телеграмму. Она была из Парижа:

Случилось ужасное несчастье. Жду тебя. Тео.

Молли молча отложила телеграмму и вернулась к мертвому ребенку.

Джек провел рукой по глазам. Неясная тень давнего детского горя мелькнула перед ним и скрылась, полузабытый образ птицы, улетающей из отворенной клетки. Он подошел к кровати.

— Молли, сколько у нас в доме денег?

— Три соверена и немного мелочи. Джек посмотрел на часы.

— Я возьму их с собой, а тебе оставлю чек. Где у нас карболка? Я продезинфицируюсь, а ты скажи Сьюзен, пусть позовет извозчика. Я только-только успею, поезд отходит с Черинг-Кросс в девять.

Минуту он молча смотрел на восковое личико Джонни; потом наклонился и закрыл его простыней.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

1

Эпиграфом взят конец стиха из Библии, из Книги пророка Исая: «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим».

...«пес возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи». — Фраза из Евангелия.

...которого за привычку обижать малышей прозвали «ягненком». — В конце XVII века в Англии прославился своей жестокостью полк, служивший под командой полковника Кирке; на знамени этого полка был изображен ягненок.

...отрывки из Цицерона, из Горация, из Тацита... и попал на трагедию Лукреции. — Цицерон (106 — 43 до н. э.) — римский политический деятель, оратор и писатель. Гораций (65 — 8 до н. э.) — знаменитый римский поэт. Тацит (ок. 55 — ок. 120) — знаменитый римский историк. Трагедию Лукреции описывает римский историк Тит Ливий (59 до н. э. — 17 н. э.) в первой книге «История Рима». По преданию, сын римского царя Тарквиния Гордого Секст Тарквиний обесчестил жену своего родственника Коллатина — Лукрецию, после чего она покончила с собой.

...словно та голубка Ноя, которая не вернулась в ковчег. — По библейским преданиям, спасшийся от всемирного потопа в своем ковчеге Ной время от времени выпускал наружу голубя, чтобы узнать, сошла ли вода, но голубь каждый раз возвращался в ковчег, и лишь когда вода сошла совсем, голубь не вернулся.

Филипп II (1527 — 1598) — испанский король — прославился своим деспотизмом и изощренной жестокостью.

Божество Калибана Сетевое. — Уродливый дикарь, сын колдуньи, Калибан — персонаж драмы Шекспира «Буря», — поклонялся божеству Сетebосу.

Иоахим Йозеф (1831 — 1907) — знаменитый скрипач-виртуоз, талантливый педагог и композитор, родом из Венгрии.

Сен-Сане Камиль (1835 — 1921) — французский композитор.

Бальдур — в скандинавской мифологии — бог добра и красоты.

«Мадонна в гроте» — картина Леонардо да Винчи.

Она тепла, как ангел Лаодикии... — По евангельской легенде, святой дух говорит об ангеле Лаодикийской церкви: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч... Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих» (Откровение Иоанна, гл. 3 — 15, 16).

...о женщине, взятой в прелюбодеянии, и о кающейся грешнице... —
По евангельской легенде, Христос призывал прощать падших женщин.

Гризельда — героиня средневековой итальянской легенды, слывшая образцом супружеской покорности: ее образ неоднократно использовался в литературе — в произведениях Боккаччо, Чосера и других.